

**Пишем сочинения
по произведениям
Ф.М. Достоевского**

Образы детей

Предисловие

– Я недавно прочитала несколько новых книг серии «Пишем сочинения по...».

– Зачем это нужно, тебе учебника по литературе мало?

– Учебник – мой самый верный помощник. Но вопросов и заданий, которые задаёт нам учитель, так много, и они такие разные, с «подковыркой». Тут одним учебником не обойтись.

– В чём же тебе помогают книги этой серии?

– Я **составляю** развёрнутый, аргументированный **анализ** прозаических и поэтических **текстов** – это раз. **Знакомлюсь с образцами анализа эпизода** и отрабатываю это сложное умение – это два. Знакомлюсь с критической литературой, чтобы **лучше сдать устный экзамен** – три. И даже получила впервые **«5» за сочинение** (объёмом в 4 листа!) по творчеству Ф.М. Достоевского – это четыре. **К ЕГЭ** удобно **готовиться** – это пять. У меня десять пальцев на руках, и все я могу сейчас загнуть, доказывая тебе необходимость работать с дополнительной научно-публицистической и критической литературой.

– Ну убедила.

В пособиях этой серии использованы **отрывки из статей следующих литературоведов**: Г. Абрамовича, М. Авдеева, П. Анненкова, М. Антоновича, К. Н. Анциферова, Арабажина, И. Астахова, Н. Ашхарумова, А. Бадена, А. Бороздина, Г. Брандеса, Н. Бражника, Д. Благого, С. Богуславского, С. Бураковского, С. Булгакова, Ф. Булгаковой, М. Быстрова, А. Введенского, Л. Вейнберга, С. Венгерова, А. Винера, В. Владимирова, Л. Войтоловского, А. Вольнского, Д. Галахова, Э. Геннекена, А. Гизетти, И. Глебова, Ф. Головенченко, Г. Горбачёва, А. Григорьева, Н. Григорьева, Л. Гроссмана, Н. Гудзии, С. Дудышкина, Н. Дюнькина, П. Евстафьева, С. Елеонского, В. Ермилова, Е. Ефимовой, Д. Жохова, В. Засимовича, А. Захаркина, Н. Зверева, А. Зерчанинова, С. Золотарёва, Н. Кадмина, А. Кайева, В. Карасёва, П. Когана, Н. Колокольцева, А. Кони, Н. Коробки, Н. Котляревского, К. Лахостского, В. Литвинова, Б. Майкова, В. Максимова, В. Малинина, М. Мальцева, Е. Маркова, Н. Мендельсона, Д. Мережковского, О. Миллера, Н. Михайловского, Я. Назаренко, Н. Невзорова, А. Незеленова, А. Новикова, Н. Носкова, Л. Оболенского, Д. Овсяннико-Куликовского, В. Оголева, О. Орлова, И. Оршанского, В. Основина, В. Павлова, П. Перлова, В. Переверзева, С. Петрова, Д. Полевого, Н. Порфиридова, В. Пузицкого, Д. Райхина, В. Розанова, В. Саводника, В. Семевского, Н. Сильванского, Л. Соколова, А. Соловьёва, Н. Спицыной, В. Стражева, Н. Страхова, В. Стоюнина, Н. Трифонова, И. Успенского, Н. Фатова, В. Фёдорова, А. Филонова, С. Флёрова, С. Флоринского, Н. Черепнина, В. Чижая, Т. Чирковской, С. Шамбинаго, Р. Янтарёвой.

От редактора

Книга представляет собой уникальную подборку материалов из критики, современной Достоевскому, а так же из работ литературоведов последующих десятилетий. Они дают представления не только об особом месте образов детей в творчестве писателя, но и о его глубоком проникновении в детскую психологию, о его педагогических взглядах, не потерявших актуальности и сегодня.

Книга предназначена для старшеклассников, абитуриентов и учителей литературы, но может представлять интерес для родителей и всех лиц, занимающихся воспитанием.

* * *

«Слушай, если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию?.. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребёнка...»

(Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы»)

«Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь...», — так говорит Достоевский словами Алёши Карамазова. Для этого писателя-сердцеведа, перед которым раскрывались все «документы» духовной жизни человека, все малейшие изгибы его психики, для этого психолога психологически невозможно было бы обойти вниманием тот период человеческого существования, в котором формируется его духовный облик, где засеваются семена для будущей жатвы. Но помимо этого было ещё одно обстоятельство, которое всегда влекло Достоевского к детству вообще, к детям, — это его личные симпатии к ним, больше, любовь к ним, «чистым ещё сердцем». Среди них он, «неисправимый идеалист», отдыхал душой, отдыхал от жизни, от людского эгоизма, от высокоумной морали, здесь среди чистой наивности, естественности, простоты «лечилась его душа». «Когда я, ещё в начале моего житья в деревне, — вот когда я уходил тосковать один в горы, — говорит князь Мышкин, — когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, — то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слёзы (потому что многие уже успевали подражаться, расплакаться, опять помириться и поиграть, покамест из школы до дому добежали), и я забывал тогда всю мою тоску».

Русские дети отплатили писателю своей признательностью. «На похоронах Достоевского, — вспоминает профессор О. Миллер, — среди множества всевозможных венков, можно было заметить и небольшой венок «от русских детей». И если бы этого венка тут не было, то его бы положительно не доставало». Любовь Достоевского к детям была безгранична. «При нашем последнем свидании с ним за три дня до его смерти, — продолжает профессор, он собирался играть в пользу детской больницы, на домашнем спектакле, роль схимника в трагедии гр. А.К. Толстого: «Смерть Иоанна Грозного». Спектакль предназначался на поддержку, как он тогда выразился, ужасной детской больницы...»

Приглядимся теперь к некоторым из очерченных писателем детских лиц и послушаем, как об этих детях говорит сам Достоевский. Их целая галерея; здесь всякие: и богатые, и бедные, и здоровые, и убогие, своенравные и забытые, весёлые, счастливые и грустные, жалкие дети. Но здесь Достоевский – не только художник-портретист, предоставляющий читателю самому разбираться в массе нахлынувших на него впечатлений от этих портретов, нет, здесь он и психолог-моралист, под каждым из портретов он подписывает, так сказать, свою мораль, ищет источника той или иной духовной болезни, разъедающей детскую душу, просит, умоляет, требует от взрослых, чтобы они блюли «единого от малых сих»; для него, как мыслителя, всё дальнейшее человеческой жизни обусловлено, по большей части, прошлым, он видит в детях продукты взрослых, семьи и окружающей среды, и относит пороки детей на счёт тех, кто природой был поставлен возжигать в маленьком поколении Божью искру.

Уже в его первом романе «Бедные люди» есть страничка истории детской души, рисующая момент перехода этой души из непосредственной, близкой к природе, полнотой своеобразной прелести обстановки в другую – школьную, в жизнь «по мерке». Здесь Достоевский говорит о закономерности тех порывов, тех, так сказать, наивных школьных преступлений, которые наблюдаются в детях, только что оставивших детскую жизнь и поступивших в школу... «Детство моё было самым счастливым временем моей жизни, – писала про себя Варвара Добросёлова в дневнике, который отдала на прочтение Макару Девушкину. – Началось оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился... Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам – и нужды нет, что солнце печёт, что забежишь, сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвёшь своё платье, – дома наши бранят, а мне и ничего...

И мне кажется, я бы так была счастлива, если бы пришлось хоть всю жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между тем, я ещё дитёю принуждена была оставить родные места...» По семейным обстоятельствам родители девочки должны были переехать в Петербург, здесь её отдали в пансион. «Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Всё так сухо, неприветливо было; гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на всё положенные, общий стол, скучные учителя – всё это меня сначала истерзало, измучило. Я там и спать не могла. Плачу, бывало, целую ночь, длинную, скучную, холодную ночь. Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама всё думаю про домашний наш угол, про батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки... ах, как сгрустнётся!.. Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с таски, давая в груди слёзы, и нейдут на ум вокабулы. Как к завтра урока не выучишь, всю ночь снятся учитель, мадам, девицы; всю ночь во сне уроки твердишь, а на другой день ничего не знаешь. Поставят на колени, дадут одно кушанье... Зато какой рай, когда няня придёт, бывало, за мной в субботу вечером. Так и обниму, бывало, мою старушку в исступлении радости. Она меня оденет, укутает, дорожку не поспевает за мной, а я ей всё болтаю, болтаю, рассказываю. Домой приду весёлая, радостная, крепко обниму наших, как будто после десятилетней разлуки. Начнутся толки, разговоры, рассказы; со всеми здороваешься, смеёшься, хохочешь, бегаешь, прыгаешь...» Эти две картины, из которых вторая психологически зависит от первой, весьма поучительны: тяжело свободному, беспечному, во всю грудь дышащему ребёнку сразу склониться до заранее определённой для всех одинаковой нормы.

Уже в этом, первом своём произведении Достоевский слегка очертил тот детский тип, который в его дальнейших произведениях является едва ли не чаще других, – это тип «задумывающегося» ребёнка. Дитя живёт среди фантазмагорий, построенных его поэтической фантазией, на всё окружающее он смотрит сквозь

призму волшебства, пока ещё основным мотивом его поведения является своеобразный детский эгоизм, он по-своему толкует и радость, и горе ближних. Но вдруг в нём совершается какой-то переворот, он мало-помалу прозревает, забывает себя, смотрит иначе в глаза другим, – действительность срывает с него ту розоватую пелену, которой до той поры были окутаны его детские грёзы, теперь он чувствует что-то новое, поначалу он только «задумывается», а дальше... дальше становится полномочным соучастником и людских радостей, и людского горя. «...Уведомляю вас, родная моя, – пишет Девушкин Варваре, – что у нас в квартире случилось прежалостное происшествие, истинно-истинно жалости достойное! Сегодня, в пятом часу утра, умер у Горшкова маленький. Я не знаю только от чего, скарлатина, что ли, была какая-то, Господь его знает! Навестил я этих Горшковых. Ну, маточка, вот бедно-то у них!.. У них уже и гробик стоит – простенький, но довольно хорошенький гробик, готовый купили, мальчик-то был лет девяти; надежды, говорят, подавал... Мать не плачет, но такая грустная, бедная... Отец сидит в старом, засаленном фраке, на изломанном стуле. Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести, а так, по привычке, глаза гноятся... Маленькая девочка, дочка, стоит, прислонившись к гробу, да такая, бедняжка, скучная, задумчивая! А не люблю я, маточка Варенька, когда ребёнок задумывается; смотреть неприятно! Кукла какая-то из тряпок на полу возле неё лежит, – не играет; на губах пальчик держит; стоит себе – не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала: взяла, а не ела. Грустно, Варенька – а?..» Таково начало перехода от детской сказки к людской были, и счастье тем детям, которым не дают так много «задумываться», которых умеют вовремя приласкать, чтобы не узнали они слишком рано все трудности жизни. В дальнейшем такие дети становятся «печальниками», вроде Сони Мармеладовой, князя Мышкина, маленькой Нелли («Униженные и оскорблённые»), и «как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее» возле них больному сердцу. Другие же дети сдаются при первых же серьёзных обстоятельствах и мало-помалу переходят в разряд совсем забытых, вконец униженных людей.

В своём творчестве Достоевский даёт вполне законченную градацию детских типов, скользящих в эту пропасть людского обезличения, градацию от ещё бессознательного отношения ребёнка к своему жалкому положению и до окончательно сформировавшегося убеждения в этом, которая проявляется в его внешности и поведении. Проследим за некоторыми этапами этой градации.

Без сомнения, памятная сцена уличного представления, исполненного вдовой чиновника Мармеладова, только что похоронившей мужа, которая вместе с сиротами гонят из квартиры на улицу («Преступление и наказание»). Вдова с детьми «из благородного, можно даже сказать, аристократического дома», истерзанная нищетой, в последней стадии чахотки, полупомешанная решает искать защиты и помощи на миру; «...пусть видят все, весь Петербург, как милостыни просят дети благородного отца, который всю жизнь служил верою и правдой...». Она вышла с детьми на улицу, разрядив их наподобие уличных певцов и, разместившись на людном месте, начала своё дикое представление. «Катерина Ивановна начинала хлопать в такт своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку петь, а Лёню и Колю плясать, причём даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте от мучительного кашля, отчего снова приходила в отчаяние, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводили её из себя плач и страх Коли и Лёни. Действительно, была попытка нарядить детей в костюм, как наряжаются уличные певцы и певички. На мальчике была надета из чего-то красного с белым чалма, чтобы он изображал собою турку. На Лёню костюмов не достало; была только надета на голову красная, вязанная из гаруса шапочка (или, лучше сказать, колпак) покойного Семёна Захарыча, а в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежавшего ещё бабушке Катерины Ивановны и сохранявшегося доселе в сундуке, в виде фа-

мильной редкости. Полечка была в своём обыкновенном платьице. Она смотрела на мать робко и потерявшись, не отходила от неё, скрадывала свои слёзы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улица и толпа ужасно напугали её...» Эти два по заморскому разряженные мальчика, конечно, ещё не сознают той горечи принижённого положения, которая изъела грудь их матери, они бессознательно последовали за ней на улице, мальчиков, быть может, даже занимал их своеобразный наряд, по крайней мере, перед трупом матери, раздавленной в один из моментов этого представления, они ещё не расстались ни с чалмой, ни с ермолкой, украшенной страусовым пером; на улице их заставило плакать не унижение, которому они подвергались, а шум и хохот толпы вокруг них, их испугало только это непривычное оживление. Такие крошки едва ли уже начали «задумываться».

Но вот другой мальчик, который не только «задумывается», но уже имеет и во внешности, и в манерах зачатки своего социального принижения, которые мало-помалу развернутся в нём, если только на долю мальчугана не выпадет иной судьбы. В рассказе «Ёлка и свадьба» Достоевский показывает нам несколько детских лиц. Все они вокруг ёлки; но вот разобрали ёлку, раздали подарки, причём «подарки следовали, понижаясь, смотря по понижению рангов родителей». «...Последний ребёнок, мальчик лет десяти, худенький, маленький, весноватенький, рыженький получил только одну книжку повестей, толковавших о величии природы, о слезах умиления, и проч., без картинок и даже без вишетки. Он был сын гувернантки хозяйских детей, одной вдовы, мальчик крайне забитый и запуганный. Одет он был в курточку из убогой нанки. Получив свою книжку, он долгое время ходил около других игрушек; ему ужасно хотелось поиграть с другими детьми, но он не смел; видно было, что он уже чувствовал и понимал своё положение».

Этот ребёнок, хотя уже сознающий, но ещё не вполне забытый, не в корень униженный, пытается по-своему заявить окружающим о своём существовании. «Я заметил, что рыженький мальчик до того соблазнился богатыми игрушками других детей, особенно театром, в котором ему непременно хотелось взять на себя какую-то роль, что решился поподличать. Он улыбался и заигрывал с другими детьми, он отдал своё яблоко одному одутловатому мальчишке, у которого навязан был полный платок гостинцев, и даже решился повозить одного на себе, чтоб только не отогнали его от театра. Но через минуту какой-то озорник препорядочно поколотил его. Ребёнок не посмел заплакать. Тут явилась гувернантка, его маменька, и велела ему не мешать играть другим детям...» Заставьте самолюбие такого ребёнка пострадать немного подольше, и он окончательно узнает ту пропасть, что отделяет его от таких же, но «счастливых» детей. Он замкнётся в себя, ревниво скроет своё «я» от других, боясь, как бы это «я» не поранили, вместо детской откровенности, он будет скрытен, упрям, недоверчив к встречным ласкам и только сильный пароксизм горя заставит его обнаружить свою истасканную грудь перед сердечным участием. Такова психологическая причина этих черт в таких маленьких загнанных существах, и Достоевский берёт всех их под свою защиту, доказывая, что в том не их вина.

Беда ребенку, если сознание забитости дойдёт в нём до таких пределов, в каких избразил Достоевский забитость одной девочки, встреченной им на улице Лондона («Зимние заметки о летних впечатлениях»). «Помню, раз, — пишет он, — в толпе народа, на улице, я увидел одну девочку, лет шести не более, всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую: просвечивавшее сквозь лохмотья тело её было в синяках. Она шла, как бы не помня себя, не торопясь никуда, Бог знает зачем шатаясь в толпе; может быть, она была голодна. На неё никто не обращал внимания. Но что более всего меня поразило, — она шла с видом такого горя, такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она всё качала своей всклокоченной головой из стороны в сторону, точно рас-

судая о чём-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг всплёркивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги...» Дальше для таких детей обыкновенно только два пути: либо порочный во всех его видоизменениях, либо – насильственная смерть; редко, кому удастся выкарабкаться или закалить свою душу до степени всечеловеческого страдания, каковая имелаась, по признанию Раскольникова, у святой в своей порочности Сони. Достоевский конкретизировал оба пути многими примерами. Свидригайлов («Преступление и наказание») в бреду видит «большую, высокую залу, и опять и тут везде, у окон, около растворённых дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы. Полы были усыпаны свежю накошенной душистою травой, окна были отворены, свежий, лёгкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым градепапием и обшит белым густым рюшем. Гирилянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах, лежала в нём девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы её, волосы светлой блондинки, были мокры; веноч из роз обвивал её голову. Строгий и уже окостенелый профиль её лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах её была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажжённых свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца – утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорблённое обидой, ужаснувшюю и удивившею это молодое, детское сознание, залившюю незаслуженным стыдом её ангельски чистую душу и вырвавшюю последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в тёмную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер...» Такова ужасная градация обезличения человеческого достоинства в детях.

Достоевскому, наряду с другими писателями, выступавшими на борьбу с общественными язвами, пришлось много выстрадать за всю свою писательскую жизнь от прессы враждебного лагеря. В этой травле «народного русского писателя» (слова О. Миллера) ничем не пренебрегали: ни мелкой сплетней частного характера, ни громкой инсинуацией, всем пользовались «благонамеренные» писаки, чтоб развенчать в глазах читающего люда любимого писателя. «Кого много любят, того много и ненавидят» – этот стих Шиллера («Мария Стюарт») вспоминает по данному поводу О. Миллер. Достоевского – певца «несчастных», адвоката «униженных и оскорблённых» – обвиняли, между прочим, в чрезмерном злоупотреблении пышными громкими фразами, в том, что он – апостол забитого люда – мало прибегал к радикальным способам, к существенной, так сказать, помощи в борьбе с общественными язвами. Но подобная инертность являлась едва ли не следствием его сознательного отношения к этим радикальным средствам, которыми щеголяют некоторые благотворители; в них Достоевский не видел полного, чисто альтруистического стремления к помощи, эти средства казались ему лишь «сделочками, подпорочками, уступочками»; с точки зрения Достоевского, благотворителями, подававшими «радикальную» помощь, иногда руководил себялюбивый расчёт. «Для коренного врачевания зла, – говорил проф. Миллер, – считал он необходимым, прежде всего, будить в нас самих нашу внутреннюю силу, наше ленивое душевное я». «...Я... хотел бы, чтоб все мы стали немного лучше, – пишет Достоевский в своём «Дневнике Писателя». – Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, я люблю их, моё сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь...». Большинство его любимых, главных героев – «Божьи люди», странного склада, неподходящие под условные рамки обыденной морали, его

идеалы – трансцендентны (недоступны познанию), но они – то и будят дремлющую совесть, их сила – в обаянии, подобном тому, какое производил на всех князь Мышкин. Во всяком случае, его идеалы, его проповедь сделали куда больше, нежели «крубли» или тому подобное, разбрасываемое «от избытка средств».

Но вернёмся к проповеди Достоевского о детях. Основную причину всех ненормальностей в психике взрослого человека, влияющих и на общественную жизнь искал он в том возрасте, когда у людей формируется их духовный облик, то есть в детстве.

Ранее уже приводилась градация человеческого обезличения в ребёнке, представленная Достоевским. Стоит дополнить её ещё некоторыми «игривыми предметами», как выразился однажды сам писатель. При описании некоторых из них обычный, спокойный тон повествования сменяется нервным, повышенным; читателю слышится плохо скрываемая горечь, обида писателя за малых детей; психологический анализ уступает место злостной сатире.

Вот, например, два рассказа («о русских детках»), переданные Иваном Карамазовым своему брату Алёше. У одних «почтеннейших и чиновных людей, образованных и воспитанных» была «девчоночка маленькая, пятилетняя», родная, но отец и мать всё же возненавидели её, а возненавидев, принялись истязать. «Они били, секли, пинали её ногами, не зная сами за что, обратили всё тело её в синяки...» «Понимаешь ли ты, – поясняет Иван, – понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, ещё не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьёт себя крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слёзками к «Боженьке», чтоб тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, послушник ты мой Божий. Без неё, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели... но эти, эти!...»

Второй рассказ Карамазова повествует об одном генерале и о дворовом мальчишке, маленьком, всего восьми лет. Этот мальчик нечаянно зашиб камнем ногу генеральской любимицы – гончей. Его взяли от матери и посадили на ночь в кутузку. Утром – охота, все в сборе, во главе генерал, вокруг генеральская дворня, впереди всех мать восьмилетнего, виновного мальчишка. «Гони его!» – командует генерал, «беги, беги!» – кричат ему псари, мальчик бежит... «Ату его!» – вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!...». «Слушай, – спрашивает Достоевский устами Ивана Карамазова, – если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста?..»

Подобные «игривые предметы» у Достоевского не редки. Так, сродни приходится этому генералу и купец, про которого рассказывает Макар Иванович («Подросток»): он засёк сына одной бедной вдовы за то, что тот задел головой его живот; другого ребёнка, по отношению к которому он сыграл роль благотворителя, приютив его у себя задарма, до того истерзал, что тот во время своего бегства от благодетеля утонул. Должно быть, дальней родственницей этим двум господам приходится и мать той пятилетней девочки, которую (правда, это было только сон), Свидригайлов нашёл ночью в тёмном углу коридора гостиницы, «в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую...» Из её бессвязных рассказов Свидригайлов узнал, что «это нелюбимый ребёнок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно, из здешней же гостиницы, заколотила и запугала; что девочка разбилла мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала ещё с вечера; долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе, под дождём, наконец, пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что её теперь больно за всё это прибьют».

Остаётся только предположить, что выйдет из такой девочки в будущем, сели только, к её несчастью, она будет жить? Можно ли после такого детства бросать в неё, взрослую, камнем с благочестивой миной, если в жизни она не выберет прямо-

го пути? Подобными картинами Достоевский нес несчастным помощь, едва ли не более чем «радикальную»: он кричал, он требовал от мира заступы, внимания, поддержки маленьким, невинным человеческим существам.

Теперь от «избиения младенцев» перейдём к другой язве, забирающей в детскую душу, которая, по мнению Достоевского, разрастаясь в дальнейшем, сильно искажает психику человека и потому имеет общественное значение.

Дети хороши тогда, когда они дети, когда они смотрят на мир сквозь призму идеальной сказки, когда душа их чиста, верит правде и любви, близка к Христу, недаром Он считал детей истинными наследниками Царствия Божьего. Нет ничего смешнее резонирующего ребёнка: внешне – дитя, но его психика уже поражена воздействием холодного рассудка, его не манят грёзы, он охотнее прислушивается к житейской морали, понемногу он вдыхает в себя и эгоизма, и других плодов человеческой культуры; скоро его развитие навсегда распростится со всем тем, что так дорого в детях, – с искренностью, сердечностью, бескорыстными стремлениями; подражая старшим, скоро он научится лгать, кривить душой и любить только самого себя. Хорошо, если в обществе старших, куда теперь несутся его помыслы, он найдёт крепкие устои, хороший пример, тогда ещё полбеды, но если его детская, ещё мало понимающая душа попадёт в омут, тогда не кляните его за проступки; слишком мало ласкала его детская, идеальная сказка, слишком рано начал он учиться житейскому уму-разуму. И здесь стоит ещё раз вспомнить слова Алёши Карамазова: «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное ещё из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохранённое с детства, может быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь...» И не стоит бояться рассказывать детям сказки про то, что существует на свете и идеальная любовь, и бескорыстная правда, – пусть дети верят в них, подражают им и впредь у них скопится много святых воспоминаний для жизни.

Таковы же мысли относительно детей, которые высказывал князь Мышкин («Идиот»), это совершеннолетнее дитя Христовой сказки.

«Там... там были всё дети, и я всё время был там с детьми, с одними детьми... Я им всё говорил, ничего от них не утаивал. Их отцы и родственники на меня рассердились все, потому что дети, наконец, без меня обойтись не могли и всё вокруг меня толпились, а школьный учитель даже стал мне, наконец, первым врагом. У меня много стало там врагов, и всё из-за детей. Даже Шнейдер стыдил меня. И чего они так боялись? Ребёнку можно всё говорить, – всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать, под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребёнок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О Боже! когда на вас глядят эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно её обмануть! Я потому их птичками зову, что лучше птички нет ничего на свете. Впрочем, на меня все в деревне рассердились больше по одному случаю... а Тибо просто мне завидовал; он сначала всё качал головой и дивился, как это дети у меня всё понимают, а у него почти ничего, а потом стал надо мной смеяться, когда я ему сказал, что мы оба их ничему не научим, а они ещё нас научат. И как он мог мне завидовать и клеветать на меня, когда сам жил с детьми! Через детей душа лечится...»

Итак, побольше правды детям, подальше их от холодного рассудка со всеми его приложениями – вывод, к которому приходит князь Мышкин, а за ним и сам Достоевский.

Подобные мысли часто встречаются в его произведениях, ему, любящему детей, естественно было отстаивать девственность их психики; кроме того, им руководили и другие, ещё более важные соображения.

Так, Достоевский нападает на родителей, желающих видеть своих детей старше, чем есть на самом деле, умиляющихся перед их «разумностью», рекомендующих подражать большим, поскорее набираться «ума-разума»... «Дети все были до невероятности милы, – пишет он в рассказе «Ёлка и свадьба», – и решительно не хотели походить на *больших* (курсив Достоевского), несмотря на все увещания гувернанток и маменек...» Это произведение – не что иное, как рассказ о систематической травле детской невинной души, которую вела, не роняя своего достоинства, «благонравная, расчётливая житейская мораль».

Подобную тенденцию бичует Достоевский и в рассказе «Маленький герой». Герою «без малого одиннадцать лет»; он гостит в деревне у богатого родственника, дом которого полон гостей и веселья. От всеобщего одушевления, блеска и шума маленькая, не привыкшая ещё голова ребёнка «закружилась». Но ещё более «закружилась» она оттого, что многие из прекрасных женщин-гостей ласкали его, «ещё не думая справляться с его годами», ласкали как «маленькое, неопределённое существо, которое они подчас любили ласкать, и с которым им можно было играть, как с маленькой куклой». «Какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною; что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему, но от чего оно, подчас, горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо моё. Порой мне как-то стыдно, и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтоб перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор, казалосьсь мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть.

То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем, что стыдно мне, маленькому человеку, до слёз». Итак, ему было стыдно, он чувствовал что-то непонятное, но беспощадная блондинка устроила против него целую атаку. «Она преследовала меня без меры и совести, сделалась гонительницей, тиранкой моей. Весь комизм её проделок со мной заключался в том, что она сказалась влюблённою в меня по уши и резала меня при всех». Его доселе чистая душа всколыхнулась, безнравственные для ребёнка, но обычные среди взрослых ухватки оскорбили его, еще не успевшего вступить в жизнь. Он вновь стремится к сказке и находит её в образе одной дамы, подруги блондинки. «Есть женщины, – говорит Достоевский, – которые точно сёстры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере, ничего, что есть больного и уязвлённого в душе. Кто страдает, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть в тягость, затем, что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно-терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвлённых, потому что сердце, которое много любит, много грустит, но где рана бережно закрыта от любопытного взгляда, затем, что глубокое горе всего чаще молчит и таится. Их же не испугает ни глубина раны, ни гной её, ни смрад её; кто к ним подходит, тот уж их достоин; да они, впрочем, как будто и рождаются на подвиг...» Такой «сестрой милосердия» для раненого мальчика пришлось г-жа М*; её он и полюбил своей детской, чистой, невинной любовью, полюбил, как сказку. Блондинка же не унималась; она решила открыто выставить мальчика, как соперника, мужу г-жи М*. Его душа ещё больше оскорбилась, «во мне, в ребёнке, было грубо затронуто первое, неопытное ещё, не образовавшееся чувство, был так рано обнажён и поруган первый благоуханный девственный стыд и осмеяно первое

и, может быть, очень серьёзное эстетическое впечатление». Известно, как при всех, неожиданно для самого себя, срезал ребёнок эту блондинку. «И не стыдно вам... вслух... при всех дамах... говорить такую худую... неправду!?!.. Вам, точно маленькой... при всех мужчинах... Что они скажут?.. вы – такая большая... замужняя!..»

Счастье для ребёнка, что на этом и закончилось воздействие взрослых на его сказку, счастье, что для его души ещё была крепка, жива и дорога эта сказка, она переманила его на свою сторону и возвратила ему утраченное было душевное спокойствие. «Но представьте себе уже не игру, – продолжает мысли Достоевского профессор Миллер, – а умышленное и упорное систематическое воздействие на ребёнка, представьте себе его жертвою пропаганды. Пусть только позаботятся хорошенько ему внушить, что жалость, сочувствие – прививной вздор, что в природе вещей только любовь для себя, любовь, ожидающая ответа, неизбежно ревнивая, т. е. никому не уступающая своего места, что всякое пробудившееся стремление должно быть непременно удовлетворено, что при неудовлетворённости наших стремлений не стоит и жить, что оборвать свою жизнь всегда можно, что вопрос: «какие там будут сны!» – чистый вздор, потому что там ничего не будет... Представьте себе, что всё это искусно напущено на ребёнка и вот... уже становится возможным детской ручонкой пустить себе пулю в лоб...»

Несколько таких резонирующих полуребят Достоевский представил в своих дальнейших произведениях. Таковыми являются Коля Иволгин в романе «Идиот» или Коля Красоткин в романе «Братья Карамазовы»; их уже коснулась отравка пропаганды, они мучаются над разрешением метафизических и социальных вопросов, старательно прислушиваются и «запоминают» слова старших. Их душа, не успев расцвести, заранее дряхлеет, у них нет «святых воспоминаний детства», вместо них – плохо переваренные отрывки, какой-нибудь софистики; их душа – почва, на которую легко воздействовать дурному человеку, стоит лишь обольстить мальчугана блёстками рыночного остроумия или открыть его душе какую-нибудь сверкающую утопию. Здесь – уже зло общественного порядка, но его начало в семье, а потому трудно винить во всём молодость, если общество и семья в своё время не скопила в его молодой душе «святых воспоминаний детства».

Достоевский неоднократно затрагивал вопросы о влиянии на детей окружающей среды и воспитателей. Он глубоко скорбел за детей, которых нищета родителей поместила в обстановку, мало соответствующую их первоначальной чистоте. Мы видели, как в подобной обстановке обезчеловечивается человеческий образ у детей, как рано горе заставляя их «задумываться» о том, что впереди. Раскольников с горечью говорит Соне: «Неужели не видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери и в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратен и вор. А ведь дети – образ Христов: «Сих есть царствие Божие». Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...»

Сколько вреда приносят всему человечеству такие «благодетельницы», как Бубнова в романе «Униженные и оскорблённые» или Анна Фёдоровна в «Бедных людях»; впрочем, у Достоевского их много, они дают приют «вдовице и сироте беспомощным из милости, ради любви христианской», а затем... кисейное платье... Не менее жалко Достоевскому и «мальчика с ручкой», которого эксплуатируют взрослые, научив тунядствовать и лгать не краснея. За всех таких детей вступает писатель, вступает нередко в публицистической форме, далёкой от требований художественной объективности. Чтобы в этом убедиться, следует перелистать его «Дневник писателя».

«...Эти создания, – пишет Достоевский в «Дневнике писателя» за февраль 1876 г., разбирая дело Кронеберга, – тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня!». Взрослому необ-

ходимо душой сжиться с ребёнком, самому стать ребёнком в отношениях с ним, «всякому вспомнить, как сам был ребёнком» (слова князя Мышкина), тогда и воспитание будет прочное, да и детская душа не замкнётся перед взором старшего.

Вот причина, по которой малый сердцем Мышкин производил на детей обаятельное впечатление, по которой он далеко оставил за собой и учителя, и даже, увы, многих из родителей. («...Шнейдер много мне говорил и спорил со мной о моей вредной «системе» с детьми»), рассказывает Епанчиным Мышкин. «Какая у меня система! Наконец, Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль... что он вполне убедился, что я сам совершенный ребёнок, то есть вполне ребёнок, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, — и это я давно заметил, — не люблю, потому что не умею. ...Я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети, но не потому, что я сам был ребёнок, а потому, что меня просто тянуло к детям». Такой собеседник сродни их сказке, они понимают его своей душой и своим умом, они пойдут за ним, куда бы он ни повёл.

В швейцарской деревне у одной бедной и большой вдовы «была дочь, лет двадцати, слабая и худенькая, — рассказывает Мышкин, — у ней давно начиналась чахотка, но она всё ходила по домам в тяжёлую работу наниматься поденно — полы мыла, бельё, дворы обметала, скот убирала». Однажды с ней случилось несчастье, об этом узнала деревня и «все кругом смотрели на неё, как на гадину; старики осуждали и бранили, молодые даже смеялись, женщины бранили её, осуждали, смотрели с презрением таким, как на паука какого». Даже школьники, подражая взрослым, изводили девушку и смеялись над ней, кидали в неё грязью; «гонят её, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнётся, они за ней, кричат, бранятся». Так продолжалось некоторое время. «Потом я стал им говорить, говорил каждый день, когда только мог. Они иногда оставались и слушали, хотя всё ещё бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали браниться и стали отходить молча. Мало-помалу, мы стали разговаривать, я от них ничего не таил; я им всё рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари. Иные, встречаясь с всю, стали ласково с нею здороваться... Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь её очень любят. Скоро и все стали любить её, а вместе с тем и меня вдруг стали любить». Вся деревня переполошилась, отцы обвиняли Мышкина в том, что он «испортил детей», запрещали детям видиться с Мари, но вновь обмануть детские сердца им не удалось. Ребятишки снабжали её одеждой, таскали ей гостинцы, ухаживали за ней, когда она болела, не отходили от неё в последние дни жизни. «Через них, уверяю вас, она умерла почти счастливая. Через них она забыла свою чёрную беду, как бы прощение от них приняла, потому что до самого конца считала себя великою преступницею». Дети «убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову... когда надо было нести гроб, то дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли нести, то помогали, все бежали за гробом и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми: они убирают её каждый год цветами, обсадили кругом розами».

Так, простое, не регламентировавшее себя никакой «системой», общение Мышкина с детьми возвратило им потерянную было невинность. Дети ищут «душу живу», их не прельстишь ни учёностью, ни здравым рассудком; в свою очередь, и их непосредственная чистота и невинность, их ещё не дисциплинированная житейской моралью близость к природе, к Богу, благотворно влияет на всех измученных жизнью людей: «через детей душа лечится», говорил Мышкин. Вот почему все разуврившиеся в жизни и в людях герои Достоевского, вроде Раскольникова, Ивана Карамазова и им подобных, так любят детей, так заступаются за них.

При тесной связи с ребёнком видна вся его душа; без корысти, с налёта, от чувства бросается он в объятия доброго воспитателя, он весь в его власти. Главнее всего здесь – ласка, за ласку он отдаст всё, всего себя. Достоевский подметил её психологическое значение в жизни детей и поведал историю воздействия этой ласки на ребёнка, историю Неточки Незвановой.

Эта девочка была дочерью «одной прекрасно образованной», но бедной женщины, по нужде вышедшей замуж за старика-чиновника, с которым прожила всего год. Вдовой познакомилась она с Ефимовым, музыкантом из крепостных, очень самолюбивым человеком; будучи энтузиасткой, увидела «в нём какого-то гения, поверила его заносчивым словам о блестящей будущности», влюбилась и вышла замуж. Но скоро ей пришлось разувериться в таланте своего мужа, он оказался неудачником в искусстве и порой, в моменты сомнений в собственных силах, запивал, чтобы залить горе. Мало того что сам он в дом ничего не приносил, да и из того, что зарабатывала его жена, старался тайком утянуть себе на водку. Отсюда постоянные скандалы, которые закатывала жена своему беспутному мужу, но в которых он, однако, сохранял завидное спокойствие, редко отвечая на упрёки. Среди этих сцен и выросла Неточка. Её первые связанные воспоминания относятся к десятому году. «Помню, что были сумерки, – описывает она одну из картин своего детства; – всё было в беспорядке и разбросано: щётки, какие-то тряпки, наша деревянная посуда, разбитая бутылка и не знаю что-то такое ещё. Помню, что матушка была чрезвычайно взволнована и отчего-то плакала. Отчим сидел в углу в своём всегдашнем изодранном сюртуке. Он отвечал ей что-то с усмешкой, что рассердило её ещё более, и тогда опять полетели на пол щётки и посуда. Я заплакала, закричала и бросилась к ним обоим. Я была в ужасном испуге и крепко обняла батюшку, чтоб заслонить его собою. Бог знает, отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хотелось просить за него прощения, вынести за него какое угодно наказание. Я ужасно боялась матушки и предполагала, что и все так же боятся её...» Эта сцена продолжалась часа два, наконец мать куда-то ушла. «Тут батюшка позвал меня, поцеловал, погладил по голове, посадил на колени, и я крепко, сладко прижалась к груди его. Эта была, может быть, первая ласка родительская, может быть, оттого-то и я начала всё так отчётливо помнить с того времени». «С этой минуты началась во мне какая-то безграничная любовь к отцу, но чудная любовь, как будто вовсе не детская. Я бы сказала, что это было скорее какое-то сострадательное, материнское чувство, если бы такое определение любви моей не было немного смешно для дитяти. Он казался мне всегда до того жалким, до того терпящим гонения, до того задавленным, до того страдальцем, что для меня было страшным, неестественным делом не любить его без памяти, не утешать его, не ласкаться к нему, не стараться о нём всеми силами... Может быть, матушка была слишком строга ко мне, и я привязалась к отцу как к существу, которое, по моему мнению, страдает вместе со мною, заодно».

Так ласка обманула детское невинное сердце: оно предпочло отца, живущего за счёт сил и здоровья своей труженицы-жены: «Насколько я привязалась к отцу, настолько возненавидела мою бедную мать», – признаётся Неточка.

Раз на улице, девочка, нечаянно разбив чашку, заплакала и, боясь показаться матери, рассказала об этом отцу, который случайно здесь оказался, ибо «я как-то была уверена, что он заступится за меня». Своё детское горе она доверила отцу по причине всё той же ласки, вовремя вошедшей в детское сердце. Мало того, «фантастическая, исключительная», по её словам, любовь к отцу испортила всё её отношение к матери: она упорно замыкала перед ней свою душу.

Но однажды вечером мать представилась дочери совершенно в ином освещении: она «приподняла мою голову и посмотрела на меня так тихо, так ласково, лицо её прояс-

нело и озарилось такою материнскою улыбкой, что всё сердце заняло во мне и крепко забилось... Она, бедная, долго гладила меня потом по голове...». «Слезы рвались из глаз моих, но я крепилась и удерживалась. Я как-то упорствовала, не выказывая перед ней моего чувства, хотя сама мучилась». «Я всё ещё чувствовала, что как-то не могла не любить её потихоньку. Я заметила потом, что и многие дети часто бывают уродливо бесчувственны, и если полюбят кого, то любят исключительно». Подобный гипноз, по приговору Достоевского, не редок среди детей, почва его не хитра, доброму воспитателю не трудно взять в руки ребёнка, нужен только подходящий момент да условия.

Любовь Неточки к отцу мало-помалу перешла в страсть, «дошла до какой-то болезненной раздражительности». «У меня было только одно наслаждение, – говорит она, – думать и мечтать о нём; только одна воля – делать всё, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие. Сколько раз, бывало, я дожидалась его прихода на лестнице, часто дрожа и посинев от холода, только для того, чтоб хоть одним мгновением раньше узнать о его прибытии и поскорее взглянуть на него. Я была как безумная от радости, когда он, бывало, хоть немножко приласкает меня...» При таком полнейшем параличе воли легко можно перевернуть всю духовную организацию ребёнка, и Достоевский иллюстрирует это положение некоторыми фактами из истории Неточки. Так, по настоятельной просьбе, или, вернее, требованию отца, она решилась обкрадывать мать, не донося ей из лавочки сдачи, а раз, даже, утаив целых пятнадцать рублей; всё это она отдавала отцу. Если принять во внимание тот факт, что для совершения краж он задабривал ребёнка гостинцами и пряниками, что оскорбляло даже девочку, если далее учитывать полнейший паралич воли ребёнка, то становится ясным, что в будущем из подобной связи могло бы выйти мало хорошего. Смерть отца высвободила девочку из-под этой нравственной опеки.

Только в последний день своей жизни мать Неточки осознала свою вину перед девочкой, осознала, что была для дочери слишком высока, слишком малодоступна, в своё время не постаралась быть ближе к ней, привлечь к себе, она проглядела даже зарождение сознательности в своём ребёнке.

«Мамочка! Мама! – сказала я, всхлипывая, – за что ты... за что ты не любишь папу? – И рыдания не дали мне досказать.

Стенанье вырвалось из груди её (матери). Потом, в новой, ужасной тоске она стала ходить взад и вперед по комнате.

– Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она выросла; она знает, всё знает! Боже мой!..»

Этот и многие из приведённых примеров показывают, как сложна, при всей своей непосредственности и близости к природе, духовная психика ребёнка, как осторожно нужно обращаться с ней воспитателю, как многозначна в воспитании окружающая ребёнка среда, момент для действия того или иного духовного восприятия или эмоции.

На примере «маленького героя» мы видели, как иногда могут быть нравственно искалечены дети, воспитанные в культурной обстановке, и, с другой стороны, как благотворно действовал на детей Мышкин, руководясь только своей душой, а не какой бы то ни было «системой». В своих произведениях Достоевский дал нам целый проспект черт духовной психики ребёнка, он доказал, что в ребёнке, быть может, преимущественнее, чем во взрослом имеется «душа жива», что эту «душу живую» нужно лелеять, холить, не прельщаясь тем капиталом духовных идей, который имеется у старших. Никто из старших не может так любить, так сочувствовать, так стремиться, с такими чистыми помыслами приближаться к идеалу, как дети. Никто из старших не может так честно отстаивать свои идеалы, как дети, так бесконечно страдать, когда идеалы поруганы. От Неточки, с её переживаниями за отца, перейдём к другим подобным персонажам; самый яркий из них – девочка Нелли, героиня романа «Униженные и оскорблённые».

«Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни» — такой она впервые является в развитии действия романа. Она — дочь несчастной женщины, которую обольстил и бросил отец Нелли, тем самым окончательно рассорив мать с её отцом, дедом девочки, и подвергнув её крайней бедности. Она поселилась с Нелли в «тёмном и сыром» подвале, совершенно больная и беспомощная; единственная защита — дед Нелли. Он сам, впрочем, совершенно бедный человек, — не желал признавать опозорившей его дочери. Но тяжёлая болезнь матери, необходимость в её лечении и другие невзгоды, побудили Нелли взять на себя смелость обратиться к деду за помощью. Здесь достойна внимания та сила любви, которая управляла Нелли при достижении желаемого — помощи от деда ради её больной матери. «Как только я пришла к нему... он вскочил, бросился на меня и затопал ногами, и я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег, пятьдесят копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, покамест он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, он опять отворил, опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел...» Только когда было совсем темно, дед, видя, что девочка всё не уходит, «отпер свою дверь и через минуту вынес мне медных денег, все пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе, закричал, возьми, это у меня всё, что было, и скажи твоей матери, что я её проклинаяю», — а сам захлопнул дверь. А пятаки покатались по лестнице...» Но девочка, горячо любящая мать, не может снести подобного оскорбления, и даже при крайней нужде ей тяжела такая подачка. Она добывает милостыней деньги, что взяла у деда, возвращается к нему и бросает с размаха все деньги: «Вот, возьмите ваши деньги... не надо их от вас мамаше, потому что вы её проклинаяете...» Умиравшая мать заповедует ей никогда не кланяться своей родне: «Они злые и жестокие... оставайся бедной, работай и милостыню проси, а если кто придёт за тобой, скажи: не хочу к вам!..»

Всю свою недолгую жизнь Нелли свято соблюдала и до гроба своего донесла эту заповедь. Чтобы существовать, она просила милостыню, чтобы зажать рот хозяйке Быковой, которой умершая мать осталась должна, отдавала ей почти всю милостыню, мало того, готова была пожертвовать собой, лишь бы только не проклинали дорогого для неё имени матери. Она была полна любви и сострадания к окружающим, как «ангел», вносила в их среду примирение и прощение, своим вмешательством устроила счастье такой же несчастной, как она, Наташе и добровольно уступила ей того единственного, в котором видела своё счастье. Будучи ребёнком, читая с дедом Закон Божий, она недоумевала, почему Христова заповедь: «любите друг друга и прощайте обиды» не смущает душу деда по отношению к своей дочери. Но всё это не помешало ей донести до гроба обиду за мать: её детское любящее сердце не простило людям, оскорбившим то, что было ей так дорого. «Поди к нему и скажи, — просила умирающая девочка Ваню, — что я умерла, а его не простила. Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам своим. Ну, так я это читала, а его всё-таки не простила, потому что, когда мамаша умирала и ещё могла говорить, то последнее, что она сказала, было: «Проклинаю его», ну так и я его проклинаяю, не за себя, а за мамашу проклинаяю... Расскажи же ему, как умирала мамаша, как я осталась одна у Бубновой; Расскажи, как ты видел меня у Бубновой, всё, всё Расскажи, и скажи тут же, что я лучше хотела быть у Бубновой, а к нему не пошла...» Так может мстить ребёнок за свою раненую «душу живу».

Таковыми же борцами за фамильную честь являются и два мальчика — Коля Иволгин («Идиот») и Илюша («Братья Карамазовы»). Для них так же, как и для Нелли, на первом плане стоит даже не честь, а сама личность родителей, любовь к ним, выбившимся из своего круга, и стремление поставить их в более достойные отношения с окружающими.

Много ещё черт детской души показал Достоевский в своих произведениях: он верил в её непосредственную чистоту, в могучий детский инстинкт, которые нравственно неискалеченного ребёнка делает носителем Христовой правды. Отношение Нечки Незвановой к княжне Кате, в семье которой приютили её после смерти отца и матери, показывает, как бесконечно велика и чиста может быть любовь ребёнка, сколько преданности и самопожертвования он может отдавать тому, кого любит.

В «Записках из Мёртвого Дома» есть рассказ, свидетельствующий о том, как чуток ребёнок к несчастью ближнего: «Я возвращался, – рассказывает Достоевский о себе, – с утренней работы один, с конвойным. Навстречу мне прошли мать и дочь, девочка лет десяти, хорошенькая, как ангельчик. Я уже видел их раз. Мать была солдатка, вдова. Её муж, молодой солдат, был под судом и умер в госпитале, в арестантской палате, в то время, когда и я там лежал больной. Жена и дочь приходили к нему прощаться; обе ужасно плакали. Увидя меня, девочка покраснелась, пошептала что-то матери; та тотчас же остановилась, отыскала в узелке четверть копейки и дала её девочке. Та бросилась бежать за мной... «На, «несчастный», возьми Христа ради, копеечку!» – кричала она, забегая вперед меня и суя мне в руки монетку. Я взял её копеечку, и девочка возвратилась к матери совершенно довольная. Эту копеечку я долго берёг у себя».

Принимая во внимание такое отношение Достоевского к детям, его веру в детей, как носителей Христовой правды, понятен и тот апофеоз, которым закончил свои сказки о детках писатель; это поэма, находящаяся в «Дневнике писателя», под заглавием «Мальчик у Христа на ёлке».

Последняя часть романа «Униженные и оскорблённые» заканчивается дивным образом, имеющим глубоко философское значение. Нелли помирила отца с Наташей, своим чистым сердцем она разбила ту стену недоверия и лжи, которую водрузили между отцом и дочерью злые люди; она подняла их нравственно, приблизила их, забытых мелкими мещанскими дрязгами к созерцанию более возвышенных истин и обновила их душу любовью и всепрощением. В этой высшей нравственности отец с дочерью нашли себе силу и оправдание. «О! пусть мы униженные, пусть мы оскорблённые, но мы опять вместе, и пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унижившие и оскорбившие вас! Пусть они бросят в нас камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдём рука в руку, и я скажу им: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унижили, но которую я, я люблю, и которую благословляю во веки веков!» Так, по мнению Достоевского, поднимаются униженные и оскорблённые жизнью. Но малым детям далеко до подобного сознания, любовь и всепрощение они носят в себе бессознательно, поднять их, повисить над всем пошлым, мелочным приходится, по мнению Достоевского, Тому, кто всегда так любил детей, – Самому Христу.

Иззябшийся, изголодавшийся, жаждущий людской любви и ласки, бедный ребёнок-сирота в смертельном бреду видит ёлку красивую, блестящую, сияющую, – такую, какой он ни разу не видел у людей. «Кругом её всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно... «Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки?» – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это «Христова ёлка» – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли... другие задохлись... третьи умерли у иссохшей груди своих матерей во время самарского голода... и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их, и простирает к ним руки и благословляет их и их бедных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрасивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...»

Всё вышеприведённое свидетельствует о том, как важны в воспитательном отношении многие из произведений Достоевского. Страницы, посвящённые изображению детей, являются живыми страницами педагогической психологии, важным подспорьем при воспитании детей. Эти страницы весьма ценны, ибо Достоевский как могучий психолог строг и верен в своих выводах; горячо любящий детей, он боится оскорбить их напраслиной. И если дать прочесть эти страницы детям, то наверняка они почерпнут отсюда значительно больше, нежели из напыщенных, отвлечённых разглагольствований, которыми обыкновенно их пичкают старшие.

По Н. Трубицыну

Сочинения Ф.М. Достоевского подвергались разбору с самых различных точек зрения, причём за их автором давно утвердился авторитет тонкого психолога и глубокого знатока человеческой души. В связи с этим нельзя оставить без внимания и не присмотреться к тому, как изображаются им проявления душевной жизни в детях.

В 1876 г. Достоевский писал в своём «Дневнике», что он «поставил себе идеалом написать роман о русских детях». И хотя это намерение не было исполнено — отдельного романа из детской жизни Достоевский не написал, но на страницах изданных им романов и повестей он часто выводил детей, которым принадлежало его сердце наравне с униженными и оскорблёнными.

Выведенные им личности из детского мира не выражают, конечно, всех видов изменений детского характера, но и не представляют собой одного лишь повторения излюбленного типа. Будет правильным разделить их на несколько групп, соответственно тому, как выразилось общее направление их умственного и нравственного развития. Существенные особенности каждой из этих групп определяются не столько свойствами темпераментов входящих в каждую группу лиц, сколько общим складом их внутренней жизни.

Наиболее родственным таланту Достоевского является тип детей, развитие которых совершается при условиях гнетущей нужды и тяжёлой жизненной обстановки. Под воздействием подобных условий складываются особые характеры, с резко выдающимися отличительными свойствами. У Достоевского три таких характера: Нелли («Униженные и оскорблённые»), Нета («Нечотка Незванова») и Илюша («Братья Карамазовы»).

В детях, развивающихся среди вечной нужды и прочих тяжёлых жизненных условий, всегда можно встретить общие черты, несмотря на несходство их природных задатков. Наиболее характерной особенностью таких детей является их нелюбимость. Раннее знакомство с горем, недоступность светлых впечатлений, угрюмый нрав окружающих, составляющий обычное явление при гнетущей бедности и вечном горе, рождает в них прежде всего недоверие к людям. Оттого по первому впечатлению, которое оставляют они в других, их принимают за забитых и неразвитых. Но на самом деле внутренняя жизнь этих детей может быть богата содержанием, и если судьба хоть что-нибудь дала им от себя, в виде ли природных задатков, или случайных благоприятных влияний, развитие их может пойти далеко. Так, в противоположность кажущейся забитости, порой в них встречается необыкновенно сильное проявление личности: от постоянной боязни душа становится чуткой и подозрительной; отсюда шаг до развития самолюбия и чрезмерно лёгкой возбудимости под влиянием обиды. По своим нравственным основам эти характеры представляют иногда возможность совмещения самых противоположных моральных свойств: сильная, самоотверженная любовь к близким им людям нередко обуславливает в них глубокую ненависть к тому, кто вздумал бы оскорбить любимое ими существо. Наконец, те же условия могут способствовать развитию и интеллектуальных сил души: избегающий света и людей ребёнок иногда бывает способен много думать; при этом мысль, лишённая реальной пищи, работает над собственными созданиями; отсюда усиленная игра фантазии, что, в свою очередь, может способствовать движению мысли.

Из трех вышеупомянутых лиц влияние тяжелых условий жизни сильнее всего сказалось на характере Нелли («Униженные и оскорбленные»).

По описанию Достоевского, многие из указанных общих свойств этого типа проявлялись уже в самой наружности Нелли. По словам лица, от которого ведётся рассказ, «особенно поражал её взгляд: в нём сверкал ум, а вместе с тем и какая-то инквизиторская недоверчивость и даже подозрительность... Губы, прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой...» Очутившись лицом к лицу с незнакомым человеком, девочка испуганно дрожала и недоверчиво относилась к задаваемым ей вопросам. Даже и потом, когда она не могла не понимать, что этот человек спас её от верной гибели, в ней всё ещё проявляется как бы недоверие: бедняжка точно боялась обмануться и старалась подавить в себе самое чувство благодарности. «Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей» Очевидно, она даже не могла допустить той мысли, что добро может быть бескорыстным, и потому, например, покупка для неё Иваном Петровичем, рассказчиком повести, нового платья видимо поразила её. «Всё время, как я знал её, — говорит рассказчик, — она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем своим, самую светлую и ясную любовью, ...редко была со мной наружу» Было бы, однако, несправедливо делать отсюда заключение о недоступности для неё нежных движений души. Как ни была она замкнута и углублена в себя, «добренькое и нежное её сердце выглядывало наружу несмотря на всю её нелюдимость и ожесточение». На это сердце можно было подействовать лишь лаской и добротой, и впервые, когда она испытала эту доброту, «что-то мягкое, нежное засветилось в глазах её». Но помимо боязни и недоверчивости, на выказываемое участие ей мешало откликнуться и её самолюбие, развитое до крайних пределов. Под его влиянием Нелли никак не решалась воспользоваться приютом, который давал ей Иван Петрович, и всеми силами старалась доказать, что живёт у него не даром. Про себя она решила заслужить право пребывания в чужом доме работой и услугами и предпочла бы возвратиться опять туда, где видела столько горя и несправедливостей, чем незаслуженно пользоваться чужим гостеприимством. Во всём этом проявлялось какое-то ожесточение, но не от чёрствости сердца, а именно от самолюбия и гордости. Под влиянием этих свойств характера она настойчиво добивалась своего и не останавливалась перед препятствиями. Разбив чайную чашку, она пошла просить милостыню, чтобы иметь возможность на выпрошенные деньги купить новую. Тому, что при этом должно было происходить в её душе, Достоевский даёт следующее объяснение: она была «оскорблена (всей прошедшей своей жизнью), рана её не могла зажить, и она как бы нарочно старалась растревать свою рану этой таинственностью, этой недоверчивостью ко всем, точно она наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом страдания, если так можно выразиться».

Трудно подыскать основания, которыми в каждом конкретном случае определяется развитие тех или иных душевных сил, но нельзя не видеть, что напряжённое состояние, в котором жила душа Нелли, прямо отразилось на её умственных силах. По развитию, по познанию внутренних движений души других людей она стояла гораздо выше своего 12–13-летнего возраста. Так, вся история матери была понятна ей; сознательно и по-своему отнеслась она к евангельскому учению о всепрощении, и хотя её суждения об отношении к злым и несправедливым людям, о прощении милостыни обличают в ней детскую наивность, однако и в них видна самостоятельность её суждений. Впрочем, несмотря на то, что в голове её роилось много мыслей, она едва ли была способна к отвлечённой умственной работе: вечно удручённое состояние её духа вызывало в ней быстрое утомление от умственной работы; оттого она скоро бросила чтение, предложенное ей Иваном Петровичем, который за всё время проживания с ним Нелли так и не смог ничем занять её.

Как представить себе обычное состояние духа Нелли при тех особенностях, которыми отличается её духовная природа? Болезненно-напряжённое состояние,

до которого доводили её тяжёлые условия жизни, способствовало тому, что она легко возбуждалась по любому поводу. Она быстро переходила от одного состояния к другому, от нежно-любовного, иногда игривого настроения, к угрюмому расположению духа, от усиленно напряжённого подъёма душевных сил к апатии и душевной усталости. Впрочем, наиболее постоянным было в ней чувство глубокой сердечной тоски и душевного страдания. В те моменты жизни, когда она представлена в романе, даже волнения любви сопровождалась в ней тяжёлыми сердечными страданиями. Так, в её сердце жила глубокая любовь к покойной матери, наполнявшая всё её существо, но память о ней всегда сопровождалась болезненным чувством, и одно из таких насильно вызванных воспоминаний настолько потрясло Нелли, что больной организм не вынес сильного возбуждения.

Отличительная особенность Нелли состояла в том, что наряду с прочими проявлениями умственной жизнедеятельности, фантазии не занимали у неё столько места, сколько у других детей этого типа. Нелли не фантазировала, не увлеклась вымыслами своего воображения, но, в сущности, она не жила и настоящим: она вся ушла в своё прошлое и на его фоне рисовала себе картины, на которых отдыхала её больная душа.

Характер Неты Незвановой вырабатывался в сравнительно лучших условиях, и потому многие свойства, которые у Нелли развились односторонне или за счёт других свойств, у Неты получили более правильное развитие. Так, её натура была физически здоровее; бедность и убожество в её жизни не доходили до таких крайностей, какие приходилось выносить Нелли; наконец, около неё были люди, не лишённые гуманных свойств. Всё это не давало возможности развития в ней того ожесточения, пример которого мы видим в Нелли. Из родительского дома, из крайней нужды, она попадает в такую обстановку, где, по крайней мере, одна сторона (князь и Катя) могла вносить некоторое равновесие в её духовный мир. Под влиянием всех этих условий в ней развился уже не ожесточённый, а скорее покорный и ровный характер, который легко открывался навстречу добрым влияниям. Но и влияния противоположного свойства не могли не действовать на склад её душевной жизни, внешние симптомы которой были почти те же, что и у Нелли. В ней, как и в Нелли, устанавливается боязливо-недоверчивое отношение к людям, с которыми сводит её судьба. После переселения в дом кн. Х. она испытывает чувство полного одиночества. Ей хотелось общаться с домашними, но она так боялась рассердить их, что предпочитала оставаться одна. Она любила заботиться в какой-нибудь угол, где неприметнее, и там отдаваться своим думам. Впечатление, производимое ею на людей, не старающихся или не умевших проникнуть в глубину её души, обычно было невыгодным для неё. «Назло всей мелодраматической обстановке», в которой, например, старалась выставить её посетителям своего салона княгиня Х., она выходила «самым обыкновенным ребёнком, запуганным, как будто забитым и даже глупеньким». Но на самом деле душевный мир этого ребёнка, казавшегося на посторонний взгляд таким забитым и тупым, был богат запасом впечатлений, пережитых и осознанных. Не только чувства любви и ненависти, ею была изведена даже та душевная боль, которую может испытывать человек, сознательно относящийся к несправде и искажению нравственного облика в подобном себе существе. Она страдала при виде того вечного, нестерпимого горя, которое поселилось в родном ей уголке, горела от боли, сознавая уродливость отношений между самыми близкими ей существами – матерью и отчимом, в отношении себя вынесла укоры совести и чувство стыда за сознательно совершённый бесчестный поступок, испытала, наконец, тяжёлое чувство нравственной потери человека, которого прежде обожала и ради которого взяла на себя столько нравственных мук; словом, в десятилетнем возрасте она уже осмыслила добро и зло. Всё это обогатило область её понятий, расширило её умственный кругозор. Трудно сказать, какой процесс происходил при этом в душе ребёнка, при посредстве каких актов душевной жизни совершалось в данном случае

развитие сознания. Несомненно одно: в силу внутренней связи, которая существует между различными сторонами духовной природы человека, расширение области чувств должно было влиять и на интеллектуальное развитие Неты.

В душевной жизни Неты много места занимала деятельность воображения. Человеку свойственно искать отдыха от утомляющего однообразия впечатлений, особенно если эти впечатления действуют на душу удручающим образом. Натурам с живым воображением, например детям, сама природа указывает выход из томительного однообразия впечатлений посредством фантазии. Так было и с Нетой: в игре воображения она ищет отдыха от тех впечатлений, которыми входила в её душу текущая жизнь. При этом характер рисующихся в её воображении фантастических картин определяется контрастом с действительностью. Она мечтает о беспечальном существовании, крепком, не в лохмотьях, платье, возможности не терпеть побоев, не быть вечно на посылках, и её воображение работает именно в этом направлении. Нета становится странным, фантастическим ребёнком. В её голове рождаются «какие-то чудные понятия и предположения». Так, она представляет себя богатой, в пышной обстановке, причём «всё, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в её фантазии, всё было приведено в действие в этих мечтаниях». Случайно воспринятое впечатление богатого, великолепно освещённого дома с красными занавесами дало основной фон сложившейся в её воображении картине, в которой, кроме этой подробности, не было, впрочем, ничего реального, данного впечатлениями действительности. Эти фантастические мечты настолько овладевают существом ребёнка, что под их влиянием она уходит из дома с помешавшимся отцом, рассматривая свой уход как осуществление заветных мечтаний. Её детская мысль и воля действовали в том направлении, которое сообщала ей игра фантазии. Вообще под влиянием воображения она постоянно была как бы в состоянии душевного напряжения и потеряла «всякий такт, всякое чувство настоящего, действительного». Собственно, она жила только в те минуты, когда отец своими рассказами поднимал её детские силы, доводя её до восторга. Обычно это бывало в сумерки, когда он сажал её против себя на скамейку и начинал занимать своими рассказами. Тогда она «давала волю своей богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность». Во всё остальное время она жила лишь оставшимися у неё впечатлениями от этих проведённых с отцом часов, мучаясь потихоньку неясными стремлениями, зарождавшимися в ней во время бесед.

Личность третьего ребёнка, Илюши Снегирёва в «Братьях Карамазовых», любопытна главным образом тем, что противоречие между внутренними свойствами его характера и тем впечатлением, которое он производит, выражается в нём несколько иначе, чем в Нелли и Нете. В противоположность последним, Илюша, на первый взгляд, производит впечатление почти развитой личности; но если присмотреться к нему повнимательнее, нельзя не заметить, что, вопреки этому впечатлению, многие свойства его души окажутся как бы придавленными и всё его развитие представится далеко не полным. В самом деле, Илюша – это пример гордого, озлобленного и мстительного характера.

Но эти свойства не были присущи ему по природе: его привязанность к отцу и Коле Красоткину, старшему товарищу по школе, указывают, что в душе его были симпатические влечения и что по природе он скорее был существом нежным и добрым. Но уже при первом знакомстве с жизнью он встретился с такими обстоятельностью, которые вызывают в нём боязнь обиды и несправедливости. Эта боязнь совершенно естественна при тех условиях, в которых находился Илюша. Не испорченный жизнью, он, конечно, не умел ещё приспособиться к людям, а между тем в нём была потребность сохранить собственное достоинство, которое, как он не мог не видеть, на каждом шагу оскорблялось в людях, близких его сердцу. Под влиянием подобной боязни в нём раз-

вивается склонность легко и быстро обижаться. Желание уберечь чувство личного достоинства заставляет его быть постоянно настороже пред страхом оскорбления. Вместе с тем, навстречу каждой попытке уронить в нём это чувство достоинства все силы его души как бы поднимаются, под влиянием чего и слагается, по-видимому, тот гордый характер, которым он заявляет себя в отношении товарищей. Эта противоборствующая сила проявляется в нём довольно резко. Так, на первых же порах обучения в школе он отказывается подчиняться нравам, сложившимся в школьном обществе. В ответ на обычные задиранья школьников он дерётся, часто идёт один против целого класса. Оттого, несмотря на своё мягкое и доброе сердце, он ни с кем не сошёлся. Впоследствии гармоническое развитие его прекрасной природы ещё больше было задержано, когда самое святое, самое лучшее его чувство было грубо оскорблено. Ему пришлось увидеть, как его отец был публично унижен, и это произвело страшное, потрясающее действие на него. Как выразился на своём высокопарно-юридическом языке его отец, он «в ту самую минуту, на площади, всю истину произошёл. Вошла в него эта истина и пришибла его навеки». Иначе говоря, первое же знакомство с жизнью придавило в нём те симпатические свойства, которые были присущи его душе, и из доброго и мягкого мальчика сделало его мстительным и злобным. Таким образом, душа его развилась далеко не всем тем содержанием, которое было вложено в неё природой. В этом и заключается ограниченность его внутреннего мира, который при иных условиях мог быть многостороннее и полнее.

Душевное состояние Илюши во весь период действия его в романе нельзя представить иначе, как состояние сильного психического возбуждения. Его душа была слишком возбуждена под действием чувства оскорблённого самолюбия и злобной мстительности. Надорванный физически и нравственно, он даже не мог отдохнуть на вымыслах своего воображения. Его мечты были так же болезненны, как и впечатления действительности. Идуща воображал себя мстителем за унижение отца, представлял, как он вызовет на дуэль и убьёт его обидчика. Впрочем, добрые начала его природы обнаруживаются и тут: ему больше нравилось представлять себя великодушно прощающим обиду, и потому, когда отец подсказал ему возможность другого, более мирного выхода из ситуации, он до того был восхищён, что на время как бы забыл про своё больное чувство. Мечта о том, как они переедут в другой город, облегчила, хоть и не надолго, его душевную муку.

С такими душевными особенностями являются у Достоевского те дети, жизнь которых обставлена тяжёлыми условиями гнетущей нужды.

Таким образом, присматриваясь к характеру этих личностей, нельзя не убедиться в том, что, не будь этих подавляющих условий, всё их душевное развитие шло бы пропорциональнее и ровнее.

Здесь же хочется отметить ещё одну сторону влияния этих тяжёлых условий, встречающуюся во всех трёх детях — то болезненное расстройство, которое наблюдается в каждом из них. Так, Нелли страдала эпилепсией, с Нетой происходили какие-то нервные припадки, Илюша умер от бугорчатки лёгких. Известно, что все эти болезни развиваются при наличии тех условий, которыми обставлена жизнь этих детей, что источником этих болезней весьма часто служат влияния не столько физиологического, сколько психического характера. Очевидно, что и в данных случаях болезнь явилась следствием того постоянного душевного напряжения, в котором жили эти дети.

Ближе всего к этим трём личностям подходят у Достоевского два юноши, отличительной чертой характера которых является склонность к созерцательности, к мечтательному углублению в свой внутренний мир с полным отрешением от окружающей жизни. Таковыми являются Аркадий Долгорукий, главный герой и рассказчик романа «Подросток», и младший отпрыск семьи Карамазовых — Алёша. Речь идёт не о полном сходстве их характеров: их душевный состав вовсе не одно-

роден и не схож в своих началах, но, независимо от их темпераментов, детство обоих представляет много сходных проявлений внутреннего существования, определивших собой характер всей первой поры их жизни до самой юности.

К сожалению, из содержания произведений, в которых выставлены эти лица, не вполне возможно уяснить их психическую основу, ввиду чего мы лишь постараемся указать, в чём проявилась общая обоим личностям вышеупомянутая черта, и чем отозвалась она на общем духовном развитии обоих героев.

Прежде всего замечательно то, что Аркадий Долгорукий по складу своего темперамента вовсе не должен быть мечтателем. По всем признакам, это одна из тех натур, которым нужны живые впечатления действительности; а между тем всё его детство и половина юности прошли, по его собственному выражению, «в мечтательном царстве известного оттенка». К годам юности эти мечты воплотились в ту «идею» стать Ротшильдом, на которой мы застаём его в романе. Что же это были за мечты и чем характеризуется жизнь ребёнка под их влиянием?

В своём раннем детстве Долгорукий, оторванный от родной семьи и близких людей, мечтал об отце, который когда-то, всего один раз, поразил его детскую душу. «Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им, – вспоминает Аркадий, – витала около него, сводилась на него в окончательном результате». Он привык воображать его в каком-то сиянии и не мог представить иначе, как на первом месте. Этот человек, наконец, сделался ему дорог, и, не зная его вовсе, ребёнок, однако, рвался к нему всей душой.

Мечтательность и рвение к отцу ещё больше усилились в нём, когда, попав в пансион, он столкнулся с невежественным воспитателем, который умышленно старался принизить его пред товарищами. Лишённый возможности поделиться с кем-либо тем, что творилось у него на душе, он ещё больше уходил в себя. Ночами под одеялом, как это часто бывает с детьми, обливаясь слезами, он мечтал. В то же время это были счастливейшие минуты его пансионской жизни. «Особенно счастливым я был тогда», вспоминает Аркадий Долгорукий, «когда, ложась спать и закрываясь одеялом, начинал я один в самом полном уединении, без ходящих кругом людей и без единого от них звука, пересоздавать жизнь на иной лад».

По мере развития сознания неопределённость этих мечтаний уступала место мечтам более ясным и сознательным. Прежде всего, в ребёнке явилось сознание заброшенности, которое затем, вместе с сознанием своего социального положения, вызвало в нём потребность протеста. Отсюда и происхождение в нём «идеи», развившейся из детства, идеи, с которой все его мечты «из мечтательной формы романа перешли в рассудочную форму действительности».

То же самое происходило и с Алёшей Карамазовым. И он, в продолжение всего своего детства, как видно из некоторых слов романа, мечтал о матери, пока, наконец, мечта не перешла в непреодолимую потребность посетить родные места и увидеть могилу дорогого ему существа. При этом мотивы, вызвавшие это доминирующее настроение мысли, были почти тождественны с теми, которыми определился склад душевной жизни Аркадия Долгорукого. Достоевский сам указывает эти мотивы. Он (Алёша Карамазов), – говорит автор, «на всю жизнь запомнил один вечер, тихий, летний, отворённое окно, косые лучи заходящего солнца, в комнате, в углу, образ, пред ним зажжённую лампаду, а пред образом на коленях, рыдающую, как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко, до боли, и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице». И вот, будучи уже юношей, Алёша вдруг бросает место своего воспитания и воспитателей, за год до окончания курса оставляет гимназию и едет разыскивать могилу своей матери. Очевидно, всё время на дне его души жило то поразившее в детстве впечатление, которое к концу школьной жизни поднялось на

поверхность. Очевидно и то, что жившая в нём «внутренняя забота», о которой говорит Достоевский и из-за которой он «как бы забывал других», возникла в нём под влиянием этой картины, сохранившейся из отдалённого детства.

Любопытно сравнить, как сложилась нравственная физиономия обеих личностей при том преобладающем душевном настроении, о котором говорилось выше. Несомненно, внутренняя ценность личности определяется всем сочетанием её свойств, и потому при наличии одной сходной черты в двух лицах общий нравственный облик их может быть совершенно несходен. Так было и в данном случае. Независимо от того что душевное состояние обоих лиц представляет много сходного, их нравственный склад далеко не одинаков. В «Подростке», по его собственному воспоминанию, отличительной чертой было себялюбие и завистливость: «С самых низших классов гимназии, чуть кто-нибудь из товарищей опережал меня или в науках, или в острых ответах, или в физической силе, я тотчас же переставал с ним водиться и говорить. Не то чтоб я его ненавидел или желал ему неудачи; просто отвёртывался, потому что таков мой характер». «Я жаждал могущества всю мою жизнь, могущества и уединения. Я мечтал о том даже в таких ещё летах, когда уж решительно всякий засмеялся бы мне в глаза, если бы разобрал, что у меня под черепом».

Алёша Карамазов, напротив, никогда не хотел выставляться. И в то же время «дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе, так сказать, в самой природе, безыскусственно и непосредственно».

Особенности темпераментов также сказались в каждом по-своему: Долгорукий – подвижный, деятельный, резкий, Карамазов – тихий, ровный, непосредственный. Лишь в одном их нравственный облик имеет сходство, что является следствием того влияния, какое имела на них отчуждённость от окружающего их мира: в них обоих сохранилась та нравственная чистота, которая так часто теряется в ребёнке под влиянием товарищей.

Таким образом, и с этой стороны оба разбираемые лица представляют наглядный пример того действия, какое может иметь по отношению ко всему складу душевной жизни ребёнка одно сильное впечатление (чувство, образ), осевшее на дне его души. В этом заключается отличие этих двух лиц от лиц первой группы. Там прежде всего мы видим пример непосредственного влияния на ребёнка окружающей обстановки, здесь обстановка имеет значение второстепенное, и внутренний строй личности определяется не столько ею, сколько мотивами чисто психического характера.

Третий разряд детских характеров у Достоевского составляют две девочки: Княжна Катя в «Неточке Незвановой» и Лиза Хохлакова в «Братьях Карамазовых». Обе эти личности, несмотря на видимое несходство между ними, можно рассматривать как две разновидности одного и того же типа своевластных, гордых и настоячивых характеров. В Кате, дельной, здоровой натуры, с прекрасными нравственными задатками, мы имеем дело главными образом с положительными свойствами этого рода характеров, видим, так сказать, лицевую сторону типа, – в болезненной и дурно воспитанной Лизе Хохлаковой – его обратную сторону.

Наметим в общих чертах существенные свойства характера каждой.

Княжна Катя богато одарена от природы. Судя по характеристике, данной самим Достоевским, все проявления её душевной жизни свидетельствовали о развитом состоянии её духовных способностей. Так, обладая редкими умственными способностями, она усваивала всё легко и скоро и была способна много и долго думать. Темперамент Кати был в высшей степени горячий и подвижный. Под его влиянием она была постоянно оживлена, так что «вечно двигаться, бегать, скакать, шуметь и греметь на весь дом было в ней непрременной потребностью». Её духовная природа отличалась силой духа: внешние воздействия обычно производили на неё сильное впечатление, но присущая ей внутренняя сила противодействия не позволяла впе-

чтлению сразу подчинить себе её душевную жизнь. Эта сила заключалась в её гордости, составлявшей «главное начало её характера». Под влиянием этой гордости она, например, долго таила чувство любви к Нете. По характеристике самого Достоевского, «гордость доходила в ней до наивных мелочей и впадала в самолюбие, до того, что всякое противоречие, от кого бы оно ни исходило, не обижало, не сердило её, но только удивляло. Она не могла постигнуть, как может быть что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела». Кого она не могла вполне подчинить себе, – как, например, старуху княжну или бульдога Фальстафа, – над тем она старалась хоть раз восторжествовать, чтобы удовлетворить непреодолимому чувству власти.

История её столкновений с этими двумя существами, не признававшими её авторитета, как нельзя лучше рисует характер Кати. Бульдог Фальстаф был любимцем хозяйки дома, никого, кроме неё, не подпускал к себе и был зол, как тигр. Кате было неприятно, что есть хоть одно животное в доме, которое не признает её силы, не склоняется перед нею и не любит её. И вот она решила во что бы то ни стало атаковать и погладить свирепого бульдога. Одно это намерение могло стоить ей жизни, но Катя добилась своего и, преодолев чувство смертельного страха, восторжествовала над упрямой гордостью Фальстафки. История со старухой княжной не менее характерна. Княжна терпеть не могла Катю и никогда не пускала её к себе на половину. Чтобы отомстить ей за это, Катя искусно провела старуху и вдоволь потешилась над ней.

Нельзя при этом не заметить, что развившееся в девочке самолюбие иногда способно было породить в ней и нехорошие чувства и довести до непривлекательных поступков. Так, в первое время жизни с Нетой она с трудом выносила преимущества последней, сознание которых довело её до жестокости в обращении с неповинной ни в чём сиротой.

Эти самолюбивые притязания Кати, конечно, являются пороком. Но в то же время они были и силой, двигающей вперёд её духовное развитие. Под влиянием гордости в девочке развивалась твёрдая воля, неуступчивость, упорство в достижении желаний. Эта же черта была силой, толкающей вперёд её умственное развитие. «Если она не понимала чего, – говорится в повести, – то точно же начинала думать об этом сама и терпеть не могла идти за объяснениями, – она как-то стыдилась этого».

Помимо того значения, которое имела в её духовной жизни эта черта, было в её природе ещё одно начало, не позволявшее порочным свойствам утвердиться и всегда вовремя спасавшее её. Ей было присуще чувство правды, которое всегда в конце концов торжествовало. Этот инстинкт правды сам собой предостерегал её от того пути, на который толкали порочные начала характера, и всегда выводил на прямую дорогу. Она не могла лгать, всегда умела вовремя поймать себя на недобром чувстве и побеждать даже свою гордость. Так, когда её влечение к Нетте дошло до своего предела, гордости в ней как не бывало: в её отношениях к подруге проявлялось лишь её прекрасное, доброе, любящее сердце.

Где и в чём следует искать причины, способствовавшие развитию характера Кати в данном направлении? Очевидно, речь идёт о естественном наследии, полученном ею по прямому преемству. Известно, что характеры героев Достоевского поражают своей верною психологическим учениям и выдержанностью в отношении внутренней мотивировки каждой определяющей характер черты. В данном случае наблюдается то же явление. Характер Кати невольно просится на сопоставление с личностями её родителей. О естественном влиянии на неё матери говорит сам Достоевский, утверждая, что «упорство, гордость и твёрдость характера» прямо переняты Катей от неё. Что касается второй черты духовной личности Кати, тех прекрасных сторон, которые постоянно выступали в ней наружу, то в них нельзя не видеть естественного наследия от отца, которого Достоевский наделяет в высшей степени симпатичными чертами. Но, с другой стороны, и обстановка, в которой прошло её детство, не могла не внести своей доли

влияния на образование характера Кати. Если излишнее баловство окружающих способствовало развитию в ней самовластия, то, в свою очередь, светлый характер её детства обеспечивал полное, ровное и гармоническое развитие её природных задатков. Оттого в её духовной природе мы не видим ничего недоразвитого или развившегося за счёт других сторон, что наблюдается у детей первых двух групп: все силы её души действовали одинаково свободно и равноправно.

Замечательно и то, как душевные свойства Кати сами собой парализовали вред того влияния, которое могло оказывать на неё неправильное воспитание. Следует заметить, что те воспитательные начала, которым следовали ближайшие руководители её детства, в глазах этих последних были вполне разумными и целесообразными: в них была «система», был свой авторитет и идеал – Жан Жак Руссо, но на самом деле не было ни последовательности, ни разумности. «Беспутное баловство» и «неумолимая строгость» постоянно чередовались между собой. «Что вчера позволялось, то вдруг, без всякой причины, запрещалось сегодня». Поэтому естественно, что «чувство справедливости оскорблялось в ребёнке» и светлый ум Кати не мог не видеть странности и нелепости воспитательных приемов. Но тот же светлый ум помог ей определиться в тех противоречиях, которые другую могли бы сбить с толку. Так, она сумела установить свои отношения к отцу и к матери соответственно их личным характерам. Откровенная, наивно-прямодушная с первым, она была «замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна» со второй. Она переносила все прихоти матери, «доходившие даже до нравственной тирании», чего не терпела бы в отношении другого лица.

Все это выставляет Катю как прелестную, цельную натуру. Начиная с внешности, всё в ней производило впечатление счастливо одарённой натуры. «Все в ней... сияло отрадной надеждой, всё предвещало прекрасное будущее» – говорит Достоевский. «Она родилась на счастье, она должна была родиться для счастья, – вот было первое впечатление при встрече с нею».

В Лизе Хохлаковой, наблюдается та же черта, какую мы наметили как главную особенность характера княжны Кати: гордость и своевластие. Но в ней эти свойства выразились в самых болезненных проявлениях, отчего как общее впечатление, производимое её личностью, так и весь строй её внутренней жизни совсем иные, чем у Кати. В ней наблюдается то же неравновесие душевных сил, которое является отличительным признаком внутренней жизни большинства героев Достоевского.

Дети, в которых указанная черта составляет отличительный признак характера, обыкновенно бывают настоящими деспотами в семье. Частенько сами родители боятся их и становятся в в подчинённое положение, исполняя все их прихоти. Уже по этой причине в таких детях развивается болезненная слабость воли, что выражается в полном недостатке их терпения.

Всё это наблюдается и в Лизе Хохлаковой. Тон её обращения с матерью резкий, повелительный, иногда покровительственный. Чтобы удовлетворить её требованиям, мать бегаёт наравне с горничной. Лиза ловит её на словах, что называется, «режет» и тем самым часто ставит её в смешное положение. Со своей стороны, г-жа Хохлакова видимо боится Лизы: так, она не даже решается помешать любовному объяснению четырнадцатилетней дочки с молодым человеком и остаётся подслушивать его за дверью соседней комнаты.

Под каким влиянием мог установиться в Лизе такой своевластный и прихотливый характер? Помимо природных предрасположений, нельзя не заметить значительной доли влияния воспитательных условий, которыми была окружена Лиза. Первое, что обращает на себя внимание, – это излишнее потакание её прихотям. Как ни последовательно было воспитание княжны Кати, но всё-таки она встречала в своём детстве в твёрдую волю (мать) и разумную нравственную силу (отец). Кем и чем направлялось детство Лизы Хохлаковой? Единственным руководителем Лизы могла быть её мать;

но это была одна из тех дам, которые вечно жалуются на нервы, женщина без всякой руководящей мысли, глупая и вздорная, и ко всему прочему с крайне слабым развитием воли. Её главная ошибка состояла в том, что она слишком рано перестала видеть в Лизе ребёнка. Не сообщив ей здоровых начал путём естественной передачи, она не сумела устранить и тех влияний, которые действуют на существо ребёнка разлагающим образом. В Лизе постоянно поддерживалось усиленно возбуждённое состояние духа. Вместе с тем, чтение книг, не соответствующих возрасту, вызывало в ней такого рода душевные движения, которые были преждевременны для четырнадцатилетней девочки. В результате, не заключая в своей природе никаких начал, противодействующих воспитательным влияниям, Лиза делается существом, болезненным и физическим, и нравственно. С физической стороны её болезнь проявлялась в параличе ног, с психической — в ясно выражающихся признаках истерии.

Нельзя не видеть, что присущая Лизе себялюбивая притязательность видеть исполнение всех своих желаний делает её деспотичной в обращении с другими, временами доводя до грубости. Этот деспотизм есть очевидное следствие той чрезмерно лёгкой возбудимости, которая составляет отличительное свойство её психического склада. В иные моменты Лиза бывает способна дойти до крайне интенсивных чувствований (аффектов), под действием которых совершенно угнетаются симпатические влечения её души. Так, несмотря на свою любовь к матери, она терзает её грубостью обращения. Под влиянием подобного возбуждения она бьёт по лицу свою горничную, а спустя некоторое время, прося прощения, бросается целовать её ноги. Но всего характернее в этом отношении её думы и желания, которые она повергает Алёше Карамазову. По её признанию, временами в ней появляется желание «наделать ужасно много зла и всего скверного», причём Алёша вполне верит, что при случае она может и осуществить эти тайные желания.

И даже если допустить мысль, что эти мечтания слишком далеки от действительного исполнения, то уже само направление её мыслей достаточно характеризует внутреннее влечение её души. Особенности поражено в этом отношении её воображение. В своих фантазиях она рисует, например, картину распятого на стене мальчика с отрезанными на обеих руках пальчиками, который вместо жалости вызывает в ней чувство удовольствия.

Это свойство её нрава не исключает, конечно, возможности проявления в ней добрых чувств, которые она и высказывает, например, когда Алёша передаёт ей историю Снегирёва, но состояние её душевного механизма настолько неустойчиво, что влечение её души в сторону добра легко сменяется противоположным настроением. Оттого в отношениях её к людям нет естественности, и едва ли подобные натуры способны иметь глубокие и продолжительные привязанности.

Второй выразительной чертой нравственной физиономии Лизы является преждевременное развитие в ней страстности. Читая роман Достоевского, невольно поражаешься тем, что эта четырнадцатилетняя девочка не только успела выйти из круга детских интересов, но уже лелеет в себе мечты и желания, свойственные вполне сложившейся женщине. Её любовь к Алёше не носит в себе ничего платонического. Здесь во всём видны страстность и раннее чувственное возбуждение. Оттого своей любовной запиской к Ивану Карамазову она вызывает в последнем полное презрение. Вполне очевидно, что и здесь вновь играет роль чрезмерная возбудимость, которой, как можно заключить из слов Алёши, даётся сильный толчок чтением дурных книг.

Таким образом, насколько Катя представляется личностью здоровой и цельной во всех сторонах своего существа, настолько Лиза является болезненно поражённой в самых основных началах своей физической и духовной природы.

Наконец, особый тип у Достоевского представляют дети, отличительной чертой которых является преждевременное посвящение в мир идей, превосходящих по

своему содержанию уровень их понятий. Таковыми являются Коля Красоткин в «Братьях Карамазовых» и Коля Иволгин в «Идиоте». Следует заметить, что психологическая основа характеров этих двух маленьких героев не освещена у Достоевского с той обстоятельностью, которая составляет отличительную черту его художественного творчества при изображении других личностей. Очевидно, что, выводя эти лица, Достоевский имел в виду остановиться лишь на тех чертах, которыми характеризуется известный общественный тип.

Полнее очерчен Коля Красоткин. Словами Алексея Карамазова Достоевский характеризует его, как «прелестную натуру, ещё и не начавшую жить, но уже извращённую грубым вздором». С этой стороны в Коле поражает прежде всего та дерзость мысли, с которой он берётся за суждение о предметах, стоящих выше его понимания. Он, тринадцатилетний мальчик, «отрицает медицину, как бесполезное учреждение», «находит много общего в социальных отношениях между собою людей и их повелителей», толкует о силе привычки, «как главном двигателе в государственных и политических отношениях людских» и считает себя «неисправимым социалистом». Видно, как его детский ум, не обделённый от природы сметливостью и остротою, запутывается в круге идей, которых не объять и более зрелой мысли. Афоризм Вольтера о Боге, мистицизм, с которым он отождествляет всю область религии, женский вопрос, смысл христианства, классицизм – всё это темы, на которые он будет рассуждать, нисколько не задумавшись, с самоуверенностью, пожалуй, с гордостью. Между тем, источник, из которого почерпнуты им эти идеи, равно как и весь запас его знаний, очень скудны. Само собой разумеется, что он, не читавший даже Пушкина, о Вольтере и Белинском только слышал, а весь круг его социальных убеждений дан ему одним случайно попавшим в руки номером «Колокола». Но самым уродливым в этом искажении чистого детского облика является напускная солидность и пренебрежение к тому, что должно составлять потребность детской природы. Мальчик как будто ненавидит свои тринадцать лет; стараясь походить на взрослого, он постоянно сохраняет в разговорах деловитый и важный тон; стыдится детских игр, несмотря на влечение своего живого темперамента. Неприятно поражают в нём и постоянный страх за каждое сказанное слово, и старание показать себя непременно с выгодной стороны, лишаящее его детской непосредственности.

Впрочем, искусственное создание несродных детской природе начал не заглушило в нём чистоты сердца и коренных свойств ума. Он остаётся любящим сыном; его отношение к бедному, всеми обижаемому Илюше Снегирёву свидетельствуют о теплоте его чувств, несмотря на то, что он был врагом «сантиментальничанья» и «телячьих нежностей»; наконец, видно и то, что преждевременно коснувшиеся его идеи о женской эмансипации, например, скользнули лишь по поверхности его души и не задели в нём детской целомудренности. Точно так же и его ум, несмотря на застилавший его туман недоступных пониманию идей, не утратил своих природных свойств остроты и находчивости: по его разговорам с Алёшей Карамазовым заметно, что он умеет оценить всякую сколько-нибудь оригинальную мысль. Словом, природа Коли заключала в себе много здоровых начал, противодействовавших влиянию на него наносных идей, и последние лишь слегка затрагивали его детское сознание.

При всём том Достоевский устами Алёши Карамазова, предрекает Коле Красоткину, что в жизни он будет очень несчастным человеком, хотя «в целом всё-таки благословит жизнь». Это несчастье может постигнуть его прежде всего из-за неправильно настроенного ума, с детских лет жизни оставленного без разумного руководства и потому легко поддающегося всякого рода влечениям.

Любопытно подметить, каким путём совершилось в Коле это посвящение в круг идей, не соответствующих его возрасту. Вполне очевидно, что главную роль здесь играло его воспитание. Коля рос под исключительным попечением матери, которая после смерти мужа всю свою жизнь посвятила воспитанию сына. При этом одинокая

женщина, вероятно, слишком сблизилась жизнь ребёнка со своей и потому рано ввела его в круг своих личных интересов, далёких от интересов детской жизни. Вместе с тем руководство умственной жизнью мальчика по мере его физического и духовного роста всё больше и больше уходит из её рук, ибо упорный от природы и независимый характер Коли не только эмансипировался от влияния матери, но во многом даже подчинил её себе. На беду подвернулись книги, собранные ещё покойным отцом Коли, мелким чиновником. Таким образом, никем не руководимый мальчик, вполне предоставляется случайностям постороннего влияния. В подобном направлении Коля продолжает своё развитие до конца романа. Он остаётся именно тем русским школьником, о котором, будто бы со слов одного заграничного немца, жившего в России, замечено, что стоит ему показать «карту звёздного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленную».

Коля Иволгин имеет много общего с Колей Красоткиным, хотя наиболее характерные черты последнего выражены у него (Коли Иволгина) не так резко, да и вообще его личность очерчена несравненно слабее.

Как и Красоткин, Коля Иволгин от природы наделён добрым и любящим сердцем. Так, из всей семьи один он сохранил привязанность к всеми заброшенному и припрятанному старику-отцу, дошедшему от пьянства до состояния слабоумия. Из всех членов семейства Иволгиных он один ещё сколько-нибудь заботился о несчастном старике, причём тринадцатилетнему мальчику пришлось через это постигнуть такую сторону людских отношений, которую было бы слишком рано знать в его возрасте. Помимо этой черты, в нём было много добрых и деликатных свойств, и его любили за прямоту и откровенность. Но, как и в Коле Красоткине, с теми добрыми свойствами, которыми был наделён Коля Иволгин, вовсе не гармонировала напускная серьёзность, иногда переходящая в резонерство. Если в детях вообще довольно часто можно наблюдать желание быть и казаться большими, то в Коле Иволгине это свойство является не одним ребячеством. По словам одного из действующих лиц романа, он любит выражаться «целыми фразами из критических обозрений». Под влиянием журнальных статей Коля берётся даже за обсуждение различных социальных вопросов, напускает на себя либерализм и усваивает резкий, обличительный тон.

В довершение сходства обоих мальчиков нельзя не заметить, что и причины, которые могли вызвать такое направление в их развитии, очень сходны. Детство Коли Иволгина во многом напоминает детство Коли Красоткина. Хотя он и рос в семье, где был мужской элемент, но развивался он без всякого руководства, временами совсем отбивался от рук и даже не являлся домой ночевать.

Чтобы покончить с личностями маленьких героев Достоевского, обратимся к детству ещё одного, который по основным чертам своего характера стоит, впрочем, особняком от других. Это Смердяков, лакей и незаконный сын Карамазова-отца, играющий большую роль в «Братьях Карамазовых». Повествованию о детстве Смердякова Достоевский уделяет незначительное место в романе, но ввиду тех особенностей, которыми отличается его личность в психологическом отношении, каждый отдельный эпизод из его детской жизни представляет значительный интерес.

Смердяков представляет собой человека, одержимого так называемым нравственным помешательством, которое характеризуется крайне слабым развитием нравственного чувства. Больные такого рода весьма часто живут, не вызывая со стороны окружающих никакого предположения о болезненном состоянии их души и внешне не представляя никаких резко обнаруживающихся расстройств. Ввиду этого весьма интересно подметить, какими проявлениями внутренней жизни отличается детство подобного рода субъектов, тем более что в силу своей прирождённости особенность их душевной жизни сказывается уже в самом раннем детстве.

Что же представляет собой детство Смердякова?

Известно, что душа ребёнка легко поддаётся внешним воздействиям, что и вызывает сравнение её с воском. Между тем о детстве Смердякова в романе говорится следующее. Явившись на свет при самой ужасной обстановке, он случайно попадает на воспитание к слуге Григорию, человеку, хотя и слишком серьёзному, даже немного угрюмому и резонеру, но, во всяком случае, доброму и набожному. И сам Григорий, и его жена окружали ребёнка самой тёплой заботой. Но, несмотря на это, мальчик Смердяков отвечает на теплоту отношений к нему со стороны стариков-воспитателей полной бесчувственностью к ним и, как выражается о нём Григорий, растёт «без всякой благодарности», ребёнком диким и необщительным.

Вторым симптомом душевной жизни Смердякова в детстве является зверская жестокость. Он, например, очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Последняя затея особенно характерна. Она как будто свидетельствует, что у этого выродка, обделённого присущей нормальному человеку способностью нравственных и эстетических чувствований, всё-таки была потребность хоть чем-нибудь заполнить эту пустоту в своей душе. Лишённый эстетических удовольствий, он ищет других, вполне соответствующих уровню его нравственного развития. Оба указанных проявления характера Смердякова в конце концов вызывают в честном и добром Григории полную антипатию к своему питомцу.

Столь же интересно было бы хоть отчасти уяснить себе, как шло умственное развитие Смердякова, но всё, что можно сказать по этому вопросу на основании данных романа, будет лишь предположительным заключением. Присматриваясь с этой точки зрения к личности Смердякова, как она является в изображённый в романе период жизни, нельзя не признать за ним до известной степени силы мышления. Но если делать вывод из его рассуждений, следует заметить, что его умственная жизнь совершалась не вполне обычным порядком. Ему, например, был совершенно несвойствен путь индуктивного мышления, и его мыслительные способности обнаруживались лишь в той деятельности ума, при которой мысль развивается исключительно сама из себя. Самым лучшим образцом его рассуждений служит его софизм об отречении от веры, с которого и начинается его роль в романе. Это пример своего рода игры ума, не лишённого, правда, тонкости, но слишком ограниченного в своих приёмах и держащегося исключительно одного дедуктивного пути мышления.

Основываясь на этом предположении об умственных способностях Смердякова, можно заключить, что в своём детстве он был вовсе лишён наблюдательности. Это один из так называемых тупых, или, иначе говоря, апатичных умов, которые отличаются полным безучастием к внешним впечатлениям и происходящей отсюда неспособностью к наблюдательности. Оттого и мыслительные способности мальчика Смердякова, если сколько-нибудь и прогрессировали, то исключительно в силу, так сказать, органического развития его души, при самом слабом участии внешних воздействий. Эта односторонность тем более естественна, что целая область душевной жизни, а именно область нравственных и эстетических движений души, была ему совершенно недоступна. Само собой разумеется, что через это и общая сумма представлений и понятий в его душе была несравненно беднее, чем у нормально развивающегося человека.

Таковы главнейшие представители выведенного Достоевским детского мира. Стараясь указать наиболее характерные черты каждого из них, по возможности отмечались и те условия, которыми определялось развитие характеров этих лиц в ту или другую сторону. Но, не ограничиваясь наблюдением отдельных черт каждого действующего лица из разряда детей-героев, попробуем ещё раз заглянуть в глубь их души и по возможности извлечь отсюда всё, что поможет уяснить свойства детской душевной природы и те особенности, какие отличают душевную жизнь ребёнка по сравнению с жизнью взрослого человека.

Для этой цели обратимся к вопросам Достоевского с некоторыми общими вопросами.

Один из самых существенных вопросов – вопрос о том, под каким влиянием слагаются общие основы духовной природы ребёнка. Наблюдения, которые можно сделать по этому вопросу на героях Достоевского, указывают целый ряд условий, способствующих формации того, что вообще называется характером человека. В их ряду одно из первых мест принадлежит наследственной передаче духовных свойств.

Из всех выше рассмотренных лиц, созданных Достоевским, наиболее ясный пример унаследования детьми духовной природы отцов представляет личность Алёши Карамазова. Наследственно усвоенной особенностью является в нём то усиленно религиозное направление мысли, которое наиболее резко сказалось в нём в пору юности, но, как видно из романа, началось ещё в детстве. Сопоставим указанную черту характера Алёши с тем, что говорится в романе о его матери. Есть прямое указание, что мать Алёши была глубоко религиозна. Так, сам Фёдор Павлович Карамазов вспоминает о её религиозности, из-за которой он, собственно, и шадил свою вторую жену, побеждённый её смиренно-религиозным видом.

Далее, в романе упоминается о нескольких случаях проявления в ней религиозной экзальтации, из которых один запомнился Алёше на всю жизнь. В угнетённой, кроткой и безответной женщине это чувство было вполне естественно. Очевидно, и в Алёше говорила кровь матери. Уже когда он был юношей, в нём произошёл подобный порыв оскорблённого религиозного чувства, сделавший его, по заявлению отца как две капли воды похожим на мать. Сопоставление религиозности Алёши с такой же чертой его матери тем более имеет значение, что и в его родном брате, Иване, встречается та же религиозная заковка, хотя в нём, как в человеке иного склада и другого воспитания, она проявляется не в религиозном чувстве, а главным образом в увлечении религиозными вопросами.

Кроме указанной черты, вообще весь нравственный облик Алёши представлял много общего с тем, что говорится в романе о его матери.

Нельзя, однако, отрицать и влияния на Алёшу личности его отца. Очевидно, его природа восприняла в себя и часть духовного наследства от отца. Так, недаром Ракин заметил, что он – «Карамазов вполне», и что «этот тихоня, святой», «прошёл глубину, и сила сладострастия известна ему по его собственным мечтам». В свою очередь, и нравственная дряблость родителя должна была взыскаться на нём как грех отцов: несмотря на всю идеализацию его личности в романе, Алёша справедливо может казаться не вполне нормальным человеком. Его стремления и задачи слишком неопределенны, а такой важный шаг его жизни, как завершение образования, был вызван смутно сознаваемым порывом, близким к аффекту.

Кроме приведённого примера, на героях Достоевского особенно часто можно наблюдать случаи наследственной передачи различного рода нервных болезней. Так, эпилепсия Нелли ставится в связь пьянством её отца – князя Вадбольской, истерия Лизы Хохлаковой – с истерическим характером её матери и др. Но подобные примеры главным образом имеют интерес как явления психопатического характера и потому очень мало дают для изучения нормального хода душевной жизни ребёнка. Ввиду этого, не останавливаясь на разборе отдельных случаев проявления наследственности в произведениях Достоевского, постараемся уяснить лишь один вопрос, непосредственно вытекающий из признания факта наследственных влияний, а именно вопрос о том, насколько унаследованные природой ребёнка свойства и склонности могут сглаживаться под действием воспитательных влияний.

Сопоставляя условия, среди которых прошло детство каждого из сыновей старика Карамазова, с тем положением, какое они заняли в жизни сообразно своим внутренним свойствам, нельзя не признать значительной степени влияния на них именно воспитательных условий. В самом деле, все они были одарены от природы почти в равной мере. Между тем сколько-нибудь пригодным для жизни оказался, в сущности, только

один из сыновей – Иван. Именно он один оканчивает университет и составляет себе независимое и определённое положение в жизни. Из двух других братьев Алёша проводит юношество в неопределённо-мечтательных стремлениях, поступает в монастырь, через некоторое время выходит из него и до конца романа остаётся без определённого общественного положения. Достоевский даже не намечает ему никакой роли в его дальнейшей жизни. Что касается третьего брата – Дмитрия, то он оказался в полном смысле слова прожигателем жизни и в этом отношении ближе всех подходил к отцу. Едва ли можно объяснить разницу в положении, какое создал себе каждый из троих братьев Карамазовых, если не принять в расчёт условий, среди которых прошло их детство. Так, из рассказа о детстве Дмитрия видно, что о нём постоянно как будто забывают его ближайшие опекуны; четыре раза он меняет гнездо, переходя от одной московской барыни к другой. Алёша большую часть детства проводит в семье Поленова, и только два последние года перед приездом к отцу живёт у каких-то двух дам, родственниц умершего к тому времени опекуна. И хотя этот Поленов характеризуется в романе, как «благороднейший и гуманнейший человек, из таких, какие редко встречаются», но оснований судить о правильном воспитании Алёши нет. И только Иван, в котором предполагаются гениальные дарования, отдаётся на воспитание к какому-то опытному и знаменитому московскому педагогу.

Таким образом, только в детстве одного Ивана и можно предполагать нормальные воспитательные условия. Несомненно, что среда, в которой он воспитывался, заключала в себе больше сдерживающей природные наклонности мальчика силы, чем та атмосфера, в которой рос Дмитрий. Отсюда вполне естественно предположить, что более или менее одинаковая природа братьев видоизменилась в жизни, благодаря различному воздействию окружающей их детство среды.

Вторую категорию влияний составляют те, которые оказывает на душу ребёнка окружающая его жизнь. Влияние этих условий бывает двоякого рода. Во-первых, они образуют в душе ту сумму представлений, которая составляет духовное богатство человека. Во-вторых, они непосредственно влияют на весь душевный быт человека, своим непосредственным действием вызывая в нём различного рода душевные движения. Посмотрим, как воздействуют указанные условия на жизнь героев Достоевского.

В психической жизни действующих лиц Достоевского весьма часто играют роль, так сказать, неосознанные представления, которые не только дают тон душевному настроению лица, но иногда влияют и на самую волю субъекта, вызывая его на действия. Относящиеся сюда примеры можно найти в «Братьях Карамазовых» и в «Идиоте». И сила влияния этого рода представлений такова, что большее значение приобретают такие представления из ранней детской жизни, которые наиболее глубоко врезались в душу.

Влияние таких представлений можно видеть на приведённых уже примерах из детства Алёши Карамазова и Аркадия Долгорукого: для одного последовавшая за детством жизнь во многом определилась врезавшимся в память воспоминанием о скорбно молящейся матери, у другого всё детство прошло в мечтах об отце, поразившем однажды его юную душу. В том и в другом случае живучесть сохранённых душою представлений вытекала из того, что воспроизведение их памятью сопровождалось откликом в самых чувствах лица. В Алёше, например, воспроизведение такого представления вызвало однажды истерический припадок; в «Подростке» мысль об отце сопровождалась влечением к нему. Соответственно, неоднократное повторение чувства должно было неизбежно отразиться и на общем состоянии души обоих лиц.

То, что указано здесь на основании наблюдений над художественными типами, отмечается и самим Достоевским. То устами действующих лиц своих романов, то непосредственно от своего лица Достоевский не раз заявляет, что вынесенные из детства представления могут иметь значение на всю жизнь. Так, его старец Зосима

(«Братья Карамазовы») говорит, что «нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого его детства в доме родительском», и что «от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа способна ис-кать драгоценное». В конце того же романа Алёша Карамазов, обращаясь с речью к мальчикам, просит их не забывать, что одно какое-нибудь прекрасное, святое воспо-минание, сохранённое из детства, есть самое лучшее воспоминание. «Если много на-брать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасён человек на всю жизнь». Одно из таких воспоминаний Достоевский нашёл в собственной душе, и оно спасло его в роко-вые годы жизни. В своём «Дневнике» он припоминает, как в одну из тяжёлых минут его жизни в памяти воскресло одно незаметное и, казалось, забытое мгновение из дет-ства. Ему пришло на ум, как однажды его, девятилетнего мальчугана, испуганного галлюцинацией, успокоил и обласкал крепостной его отца, мужик Марей. Для него, пережившего множество самых разнообразных и сильных впечатлений, это неважное обстоятельство, залёгшее в памяти неприметно и помимо его воли и также независи-мо от него возникшее, «вдруг припомнилось тогда, когда было надо». Под его влияни-ем он почувствовал, что может смотреть на несчастных, окружавших его в остроге, совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, совсем исчезла всякая нена-висть и злоба в его сердце. Другой пример влияния сильных впечатлений детства указывает Достоевский на Некрасове. По его словам, «источником всей страстной, страдальческой поэзии его» было «раненое в самом начале жизни сердце». «Он (Не-красов) говорил мне, – пишет Достоевский, – со слезами о своём детстве, о безобраз-ной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери – и то, как говорил он о своей матери, та, сила умиления, с которою он вспоминал о ней, рождали уже и тогда (т. е. в самом начале литературной карьеры Некрасова) предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путеводной звездой даже в самые тёмные и роковые мгновения судьбы его, то, уж конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детс-ких слёз, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, ...с мученицей матерью, с существом столь любившим его». Вообще Достоевский не раз касался в своём «Дневнике» вопроса о том значении, какое могут иметь вынесенные из детства представления. Позволим себе привести ещё одно высказывание, относящееся к этой теме. «Человек, – пишет он в июльском номере «Дневника» за 1877 год, – уже по самой необходимости склонен отмечать как бы точки в своём прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспо-минания почти всегда те, которые остаются из детства».

Но главное место в ряду условий, влияющих на формирование человеческой души в пору его детства, принадлежит, конечно, тем, которые действуют непосредствен-но на сознание и чувство человека. В чём же заключаются следы влияния вызван-ных условиями жизни впечатлений в каждой отдельной личности?

На долю маленьких героев Достоевского чаще всего выпадает гнетущая обста-новка жизни. И, прежде всего, возникает вопрос, насколько душа ребёнка, со своей стороны, способна выказать силу противодействия влиянию на неё внешних условий.

Присматриваясь к личностям маленьких героев Достоевского, нельзя не замечать, что в тех из них, которым судьба послала на долю печальную обстановку жизни, нет не только самоуверенного, но даже и того нормально-спокойного отношения к людям, какое может быть свойственно ребёнку, воспитывающемуся при других обстоятель-ствах. Нелли, Нета, даже Илюша и Аркадий Долгорукий (в детстве) пугливы и застенчи-вы. Вместе с тем, нужда и горе вызывают во всех четверых как бы ожесточение против людей и недоверие к самым открытым действиям в их отношении. Так, под влиянием ожесточения, Нелли готова была уйти от человека, принявшего участие в её судьбе, и

вернуться туда, где её тиранили. Люди, окружившие её самым заботливым попечением, долгое время не видели с её стороны ничего, кроме упорного сопротивления.

Другим последствием тех же гнетущих обстоятельств является склонность к бегству от людей и чувство тоски. Так, Нелли была необщительна и грустна. Нета в доме кн. Х. и Аркадий Долгорукий в пансионе Тушара почти всё время живут замкнувшись в себя, исключительно своим внутренним миром. Но как ни разительны эти примеры, с другой стороны, нельзя не заметить, что обстановка, действующая угнетающим образом на ребёнка, оказывает на него не одно только отрицательное влияние, во всяком случае, не может подавить всех природных задатков его души. Уже из беглого очерка характеров упомянутых выше личностей, можно видеть, что недостаток знакомства с внешним миром, закрывшимся для них многими своими сторонами, возмещается, по крайней мере в первых троих, развившейся за счёт того же влияния способностью понимать самые тонкие движения душевной жизни окружающих людей. Так, маленькая Нелли сумела понять характер своего странного деда, и, несмотря на свой возраст, поняла «многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни». Илюша Снегирёв один из всей семьи откликнулся на унижение отца и один понимал, что творилось в душе этого юродствовавшего, но много переживавшего человека. На нём вполне оправдывались слова, сказанные его отцом, что «дети презренных, но благородных нищих правду на земле ещё в девять лет от роду узнают».

Вместе с тем, несмотря на вызванное суровой долей жизни ожесточение, добрые свойства не стираются совершенно с души этих детей и под влиянием нежного обращения в конце концов, проявляются сами собой. Даже Нелли, наиболее озлобленная и одичавшая, не смогла устоять против ласки и, окружённая тёплым попечением в доме Ихменевых, совсем смягчилась. Замечательно при этом, что первым движением души Нелли навстречу выказываемому ей добруму участию был стыд за грубость и неприветливость. Словом, душа ребёнка, предоставленная удручающим её впечатлениям, встречает их не одним пассивным подчинением, и то душевное настроение, которым характеризуется внутренняя жизнь ребёнка, складается под действием двух составляющих: силы внешнего воздействия и того противодействия, которое со своей стороны оказывает душа внешнему давлению.

Другой вопрос: насколько присуще ребёнку чувство личного достоинства и какими волнениями сопровождается оскорбление в нём этого чувства?

В «Подростке» рассматривается, как один необразованный воспитатель (Тушар) вздумал выместить на неповинном мальчике неудовлетворённое чувство алчности и с этой целью совершенно сознательно стал оскорблять едва зарождавшееся в ребёнке чувство достоинства. Как ответила на это воздействие душа последнего? Сначала он даже не почувствовал оскорбления: он был только удивлён и по-прежнему доверчиво относился к своему оскорбителю; грубое обращение с собою он принял за обыкновенное наказание. Затем мало-помалу душа его впитала в себя навязанные ей низкие свойства, и мальчик, чтобы угодить воспитателю, уже сам, добровольно входит в роль лакея. Но вскоре происходит реакция на это чувство сознательной приниженности. Сначала она выразилась в «пассивной ненависти и подпольной злобе»: чтобы заглушить чувство обиды, ребёнок не только выносит оскорбления, но даже сам старается предупредить желания обидчика, несмотря на все насмешки над собой. Делается это, однако, уже с полным сознанием того, что его оскорбляют, и потому со злобой и ненавистью. Наконец, по мере того, как в душе его все больше и больше накоплялось «что-то невыносимое», мальчик решает бежать из дома оскорбителя, даже не словив в своём предположении всех последствий задуманного дела.

Из всего этого можно сделать заключение, что было бы слишком опрометчиво считать детскую душу недоступной чувству чести. Оно живёт в ребёнке независимо от посторонних внушений, стоит в связи с общим развитием в нём сознания и в тех

случаях, когда его оскорбляют, выказывается сильными волнениями противодействующего характера.

Может ли, наконец, душа ребёнка оказать ту же степень противодействия и при давлении на нравственную сторону её природы? В действительности ребёнок наиболее всего податлив в отношении своих нравственных чувств, и в романах Достоевского встречаются указания, что нравственная основа детской души вполне открыта дурным влияниям. Так, его старец Зосима в своей предсмертной беседе завещает каждую минуту смотреть за собой, чтобы незаметно не заронить в беззащитное сердце ребёнка дурного семени, которое легко может возрасти. Он же с грустью указывает на то обстоятельство, что на фабриках девятилетние дети быстро развращаются под влиянием нравственно разлагающей обстановки.

Кроме того, у Достоевского встречаются случаи, указывающие, как дети бывают склонны усваивать извращённые понятия взрослых и подражать им в своих поступках, не отдавая себе отчета в смысле своих действий. Один из подобных случаев передаётся, например, в «Идиоте». Князь Мышкин рассказывает о том, как дети швейцарской деревушки, где жил он в период своей болезни, из подражания взрослым ожесточились против несчастной, безответной девушки, униженной и оскорблённой их отцами. Другой пример в этом роде представлен в «Братьях Карамазовых». Школьники не прощают Илюше Снегирёву его бедности и дурной одежды, дразнят унижением отца, доводят его до озлобления, целой толпой идут на одного хилого и малосильного ребёнка – опять-таки под влиянием извращённых понятий взрослых. Но самый резкий пример детской восприимчивости в этом направлении представляет рассказ Аркадия Догорокого о его детстве, о том, как не бессердечный по природе ребёнок под влиянием ложного стыда пред мнением «графских и сенаторских детей» грубо обрывает ласки бедно одетой матери, пришедшей к нему на свидание, и тяготится её присутствием. Потом, спустя некоторое время, добрый мальчик горько оплакал своё отречение от родной матери, но в ту минуту в его душе был лишь один стыд за её убогую внешность.

Но наряду с приведёнными примерами, представляющими гибкость детской природы в указанном отношении, у Достоевского встречаются и примеры противоположного характера, в которых проявляется протест детского сердца против насильственного вовлечения в ложь и обман. Таков пример Нечки Незвановой, отчим которой, пользуясь слепой любовью к себе девочки, так сумел подчинить её волю, что она решилась даже похитить для него последние деньги, на которые предстояло жить всей семье. Однако дорого стоил ей обман. Вынуждая себя на поступок, противный её нравственному чувству, Нечка пережила целый спектр страданий: сначала она была охвачена чувством стыда за себя и отца, затем, уже по совершении проступка, её душа так была поражена сознанием ужаса совершённого, что с девочкой произошёл нервный припадок, и только сон и время ослабили силу впечатления. Этот пример тем более характерен, что обман совершался под влиянием чувства любви и при полном участии сознания; её душа воспротивилась неправде всеми силами, и сознание нравственной цены поступка ни на минуту не оставляло её.

Сопоставив все эти примеры, нельзя не увидеть, что основным фондом душевной жизни являются всё-таки природные свойства души, которые при всей гибкости детской природы далеко не всегда уступают внешним влияниям на неё.

Другим вопросом, возникающим в процессе наблюдения над выражением душевной жизни в маленьких героях Достоевского, является вопрос о тех особенностях, которые отличают общий склад их душевного бытия.

Нельзя не заметить, что преобладающим началом внутренней организации у всех детей Достоевского является чувство, которым они, главным образом, и руководствуются в своих действиях. Почти все его маленькие герои, ещё не умея рассудить, уже умеют постигнуть сердцем смысл окружающего. Уже отмечалось, что Нелли, Нечка и

Илюша прекрасно понимали происходящее рядом с ними, чувством угадывая истину. Так, Илюша, несмотря на падение отца, чувством угадал в нём человека, не утратившего сознания своей человечности, в то время как все окружающие видели в нём лишь шута. Особенно чуткой в этом отношении является душа ребёнка там, где ему приходится угадывать душевное состояние окружающих лиц, причём это свойственно не только тем детям, которые растут в исключительных условиях, способствующих раннему возбуждению чувств, но и в детях различного душевного развития. Это инстинктивное чувство не всегда является непогрешимым. Нета ошиблась, считая своего отчима человеком угнетённым: несчастье в их семью вносил именно он, а не мать, которая казалась ей женщиной жестокой и несправедливой. Но замечательно то, что непосредственное чувство, вводя в обман, само же и выводит из него. Так, оно же и подсказало Нете, что различные отношения её к отчиму и матери не являются справедливыми. «Совесьь восставала во мне, – вспоминает она впоследствии, – и часто с мучением и страданием я чувствовала несправедливость свою к матушке».

Все это указывает, что чувственная сторона человеческой природы является в детской душе более всего отзывчивой и открытой внешним воздействиям. Вопрос в том, свойственна ли детским чувствам та степень глубины и силы, какая открывается иногда в чувствах взрослого человека. Душевный быт маленьких героев Достоевского свидетельствует, что детской душе свойственны почти все виды чувств, доступные душе взрослого, причём как степень напряжения, так и глубина их в детской душе доходят иногда до высших размеров.

Так, в Кате, например, наблюдается столько гордости, что под её влиянием она не позволяет вылиться наружу своим влечениям к Нете; под влиянием того же чувства Нелли долго не хотела пользоваться гостеприимством Ивана Петровича; та же Нелли питает в своей душе сильную злобу против князя Вадвольского, которому она даже в предсмертные часы не хотела простить нанесённого её матери оскорбления. Что касается самих форм, которые принимает внешнее проявление чувств этого рода, то и тут нельзя не видеть на примере героев Достоевского, что степень развития чувств со стороны глубины и силы может равняться сложным волнениям взрослого человека. Так, детская месть может удивить находчивостью и умением попасть в самое больное место. Под влиянием уязвлённого самолюбия княжна Катя выбирает, например, самую чувствительную струну в сердце Неты, выставляя перед ней её сиротство и бедность. В другой раз та же Катя, чтобы сильнее выразить Нете своё нерасположение, прибегает к самому тонкому и чувствительному средству, игнорируя Нету и стараясь не замечать самого её существования.

Как на особенность детской природы, стоит указать на то, что жестокость со стороны детей бывает иногда вовсе не преднамеренной и проявляется там, где не может быть и речи о мести. Более поразительно ещё и то, что на неё бывают способны дети, природе которых по всем признакам вовсе не свойственно это чувство. Как ни кажется это странным, но соответствующие случаи как раз наблюдаются у Достоевского. Так, Варенька Добросёлова из «Бедных людей» в своём дневнике вспоминает, что в детстве она находила большое удовольствие в том, чтобы выводить из терпения безотвечного Покровского. Но самый разительный пример жестокости представляет поступок доброго и нежного сердцем Илюши Снегирёва. По наущению Смердякова Илюша бросает собаке кусок хлеба, в котором была скрыта булавка, чтобы посмотреть, «что из этого выйдет». Как объяснить все эти случаи? При поверхностном отношении принято объяснять их слабым развитием в детях рассудительности («дитя, мол, глупо»). Но и самый неразвитый ребёнок не может, конечно, не сознавать, что собака, проглотив булавку, должна чувствовать боль. Скорее всего, во всех подобных случаях на поступки детей влияет быстрая возбудимость чувства, на которое сильное давление оказывает деятельность воображения. Так, в голове Илю-

ши, вероятно, пронеслось представление того, как собака завертится под влиянием боли, и именно это представление толкало его вперёд.

Наконец, сам Достоевский отмечает ещё одну особенность детского нрава в этом отношении, состоящую в том, что при совместных действиях дети способны на большую жестокость, чем в одиночку. «Дети в школах народ безжалостный, – говорит отец Илюши, – порознь Ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостные».

В такой же степени доступной разного рода моральным возбуждениям представлена у Достоевского детская душа. Наиболее яркие те волнения, которыми сопровождается чувство совести. Так, Неточка Незванова после совершённого проступка не выносит ласк матери, как бы считая себя вне всякого права на них, а мать своим участием только усиливает в её душе чувство горечи; её душа усиленно возбуждена сознанием нарушенного нравственного долга. Насколько велико было это возбуждение, видно уже из внешних проявлений. Её внутреннее страдание сопровождалось таким болезненным напряжением всей нервной системы, причём сила нервного возбуждения была так велика, что волнение в конце концов разрешилось припадком.

Всё это свидетельствует, что и моральные возбуждения в детской душе по своей глубине и силе могут ничем не уступать соответствующим движениям взрослого человека.

Но нравственное чувство в его широком смысле, а именно то чувство, которым сопровождается наше отношение к прекрасному – это эстетическое чувство, которое может быть доступно человеку лишь при его значительном душевном развитии. Оттого дети, при всей своей нравственной чистоте, могут не постигать нравственного безобразия иных поступков и предметов и относиться к ним легкомысленно. Дети, например, любят вести разговоры, которые по своему содержанию слишком преждевременны для детского возраста. Но это ещё не обозначает нравственной порчи: несмотря на внешний цинизм, ребёнок может оставаться чист душою. Подобное явление выставляется у Достоевского, частично на примерах его действующих лиц, частично в его собственных указаниях. Так, Аркадий Долгорукий сознаётся, что ещё в детстве он узнал много безнравственных вещей, бывал участником нехороших проказ и легкомысленно употреблял «известные» слова. Однако и при такой возможности развращения он всё-таки остаётся с «безгрешною душою». Лично от себя по этому поводу Достоевский говорит в «Братьях Карамазовых», что «чистые в душе и сердце мальчики, почти ещё дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не заговорят даже и солдаты». «Нравственного разврата тут, пожалуй, ещё нет, – замечает Достоевский, – цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный». Насколько подобные разговоры сами по себе небезопасны для нравственной чистоты ребёнка, – это другой вопрос. Но, во всяком случае, легкомысленно произносимые безнравственные слова далеко не всегда могут быть приняты за свидетельство нравственной испорченности тех, из чьих уст они исходят.

Помимо особенностей психического склада ребёнка в области чувствительной способности души, на детях Достоевского можно проследить ещё одну особенность, заключающуюся в присущей им склонности отдаваться игре воображения. Как можно заключать из примеров, которые мы находим у Достоевского, характер детских фантазий определяется, с одной стороны, складом окружающей ребёнка действительности, с другой, – свойствами самой психофизиологической организации детей. Что касается влияния первого рода, то действие их по отношению к воображению простирается, главным образом, на содержание самих мечтаний, которое обычно бывает прямо противоположно впечатлениям действительности. Мы уже видели, о чём мечтали Нета и Илюша. Картины, которые они рисовали в своём воображении, являли прежде всего такие стороны жизни, с которыми текущая дей-

ствительность представляла полный контраст, и всё, что было в них реального, являлось лишь приспособлением случайных впечатлений к тем мечтам, которые родились помимо и раньше самих впечатлений. Какую роль в деятельности воображения играют особенности психофизиологического склада ребёнка, мы видим на примере Лизы Хохлаковой. В её фантазиях так и сказывается нервно-истерический субъект. Стоит припомнить её представления распрятого, истязуемого мальчика, все те мысли, которые приходили ей в голову и от которых она сама содрогалась в спокойные минуты, наконец, все её тайные мечты страстного характера, чтобы убедиться, что здесь говорила главным образом её невропатическая натура.

Другой вопрос – насколько глубоко проникает в детскую душу влияние воображения и насколько сильно может отзвучивать это влияние на всё течение внутренней жизни ребёнка. В ответ на него стоит сослаться на историю Неты Незвановой, для которой, за недостатком живых впечатлений, в мечтах заключалось всё содержание внутренней жизни. Уходя из дома в страшную ночь смерти матери, она лишь осуществляла свои заветные мечты о счастливой жизни с любимым отцом, которую давно уже рисовало её детское воображение.

Этой же склонностью к мечтам и фантазиям можно объяснить нередко встречающиеся в жизни случаи бегства детей из родительского дома. Достоевский рассказывает об одном таком случае в декабрьском номере «Дневника» за 1876 год. Одна двенадцатилетняя девочка, очень неглупая, в один прекрасный день вдруг решает не возвращаться из школы к матери и существовать где-нибудь на улице, питаясь трёхкопеечной булкой. Побудило её к такому странному решению то обстоятельство, что она стала скучать в школе, между тем как уличная жизнь представлялась ей такой привольной и весёлой. Как и следовало ожидать, узнав на собственном опыте необдуманность своего решения, девочка в тот же вечер возвратилась к матери. С этой историей Достоевский сопоставляет и известные попытки бегства детей в Америку. Он прямо объясняет это любопытное явление тем, что «в юных душах, уже вышедших из первого детства, но ещё далеко не дозревших до какой-нибудь, хоть самой первоначальной, возмужалости могут порою зарождаться удивительные фантастические представления, мечты и решения». То обстоятельство, что во всех этих случаях фантастические мечтания влекут за собой попытки к их реализации, вытекает из незрелости детского ума, который, со своей стороны, оказывает слишком слабое влияние на волю, и потому последняя вполне подчиняется власти воображения.

В заключение отметим ещё одну особенность, которой характеризуется игра воображения у некоторых личностей выведенного Достоевским детского мира. Имеется в виду тот пророческий характер, который иногда получают мечты ребёнка. Наиболее разительным примером является случай с Нетой. Когда она в первый раз увидела освещённую залу дома кн. Х., в которой давался музыкальный вечер, в первую же минуту ей представилось, что всё это она видела когда-то во сне. Оказалось, что поразившая её картина давно уже пронеслась в её мечтах и всё, что теперь она вдруг увидела, было вполне сходно с её прежними фантазиями.

Следующей задачей, которую стоит решить исходя из психологической основы произведений Достоевского, – это наметить веки, указывающие путь, по которому шло духовное развитие выведенных Достоевским маленьких героев. Первоочередным здесь возникает вопрос: когда и чем пробуждается в детях Достоевского сознательное отношение к тому, что они видят вокруг себя?

Начальные годы жизни проходят бесследно в сознании человека. За начало сознательного отношения к окружающему обыкновенно признаётся первый факт внутренней или внешней жизни, остающийся в памяти. Приурочивать его, даже приблизительно, к определённому возрасту нельзя. Так, Аркадий Долгорукий припоминает случаи из такого периода своей жизни, когда ему ещё не было и шести лет. Наоборот, Неточка Незва-

нова говорит, что начала себя помнить очень поздно, только с десятого года; всё же, что было с ней до этого периода, не оставило в ней никакого ясного впечатления. Как будто в этот год она вдруг очнулась от глубокого сна. Что же в таких случаях вызывает к деятельности сознание? Обыкновенно роль первого толчка принадлежит впечатлениям, по каким-то причинам особенно врезавшимся в душу. В Нете сознательное отношение к жизни началось с семейной ссоры между матерью и отчимом, свидетельницей которой она была. Конечно, это была не первая семейная ссора. Но в душе девочки она особенно запечатлелась потому, что вслед за ней Нета испытала сладкое ощущение отцовской ласки. Вероятно, это было впечатление, выходящее из ряда других, и потому оно получило значение первого толчка. Но то обстоятельство, что этот толчок был дан слишком поздно, вовсе не помешало быстроте последующего развития ребёнка. «С той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, — пишет Нета, — я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно не детских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны».

Какими же действиями отвечает ребёнок на те первые впечатления, которые доходят до его сознания?

Прежде всего, он уже не ограничивается их пассивным восприятием. Нета говорит, что с того самого вечера, как в ней впервые пробудилось сознание, она начала думать, рассуждать, наблюдать. Но преобладающая роль чувства и относительная слабость рассудочной способности придают ещё слишком неустойчивый характер суждениям ребёнка, и, хотя последний и питается впечатлениями окружающей действительности, но, в сущности, живёт вовсе не в том мире, который около него, а в том, который создало его воображение. Так было и с Нетой. Отношения, которые были между её отчимом и матерью, она поняла совершенно превратно и в течение всего периода проживания в родительском доме продолжала смотреть на них сообразно своим ошибочным представлениям.

Однако уже в раннем возрасте, на первых порах пробудившегося сознания, усваиваются некоторые истинные понятия, которыми ребёнок и начинает понемногу руководствоваться независимо от посторонних внушений. Это понятия о справедливости, о добре и зле, о чести и бесчестии. Так, в Лизе Хохлаковой, обречённой болезнью на одиночество, в котором её голова всё время не переставала работать, в тринадцать лет происходило сильное движение мысли. При этом характер её запросов, с которыми она обращалась к Алёше Карамазову, и её своенравный протест установившемуся в людях отношению к добру и злу свидетельствуют, что процесс образования понятий совершался в ней по-своему, помимо посторонних внушений. Недаром Алёша говорит ей, что, сидя в креслах, она должна была много передумать.

С этими художественными примерами любопытно сопоставить собственные суждения Достоевского по вопросу о том, как прививаются к детям различные отвлечённые понятия. Во всех своих замечаниях по этому поводу он указывает на ту самостоятельность детского развития, которая наблюдается у большинства его маленьких героев. «Любопытно проследить, — пишет он, например, в первом номере «Дневника» за 1870 год, — как самые сложные понятия прививаются к ребёнку совсем незаметно, и он, ещё не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи». «Пяти-шестилетний ребёнок, — говорит он в другом месте «Дневника», — знает иногда о Боге и зле такие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле заключишь, что этому младенцу даны природой какие-нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неизвестные, но которые мы даже, на основании педагогики, должны бы были почти отвергнуть». Всё это, по словам Достоевского, как бы указывает, что детскому возрасту свойственна «способность восприятия и быстрого ознакомления с такими идеями и представлениями, о которых, по убеждению чрезвычайно многих родителей и педагогов, этот возраст даже и представить себе, будто бы, ничего ещё не может».

Однако как объяснить то явление, над которым сам Достоевский как бы в недоумении останавливается в своём «Дневнике»? Что способствует образованию круга идей, превышающих своим содержанием средний уровень детского понимания?

В большинстве случаев, когда сознание ребёнка доходит до идеи подобного характера, этому предшествует сильное нравственное возбуждение, сопровождающееся подъёмом всех детских сил. Это наблюдение можно проверить едва ли не на большей части маленьких героев Достоевского. Так, круг нравственных идей Неты создан главным образом после того, как она пережила впечатления последних дней жизни в родительском доме, а эти впечатления сопровождались в ней отзывом всех сил души. Чувство стыда, сострадания к матери, любви к отчиму — всё разом столкнулось тогда в её душе и произвело сильную внутреннюю борьбу. Здесь чувство не только предшествовало сознанию, но и способствовало тому, что сознание стало работать в указанном отношении. Также и Илюша Снегирёв, «произшёл истину» после того, как сделался свидетелем надругательства над родным отцом. Но эта истина стоила ему дорого. В его маленьком существе не только воспалился великий гнев, о чём говорит его отец, — в его душе разом поднялся целый ряд чувств, которые и вызвали в нём работу мысли. По отношению к некоторым героям сам Достоевский подчёркивает те обстоятельства, которые имели особенное значение в ходе их развития. Так в Аркадии Долгоруком, по его собственным словам, правильное развитие началось с той ночи, когда он хотел бежать от Тушара и когда в первый раз с неотразимой убедительностью и со всей ясностью почувствовал свою беспомощность и одиночество.

Конечно, не всякому ребёнку выпадают на долю такие чрезвычайные обстоятельства, которые чуть не разом выводят его из периода непосредственного детства, — для огромного большинства детства проходит без потрясающих душу впечатлений. Но обыкновенно те дети, которые живут заурядными впечатлениями и обычными детскими интересами, позже и развиваются, а некоторые вопросы и вовсе проходят мимо их сознания. Желая высказать эту мысль, Достоевский влагает в уста капитана Снегирёва слова, что дети богатых людей «всю жизнь такой глубины не исследуют», какую прошёл его десятилетний Илюша. Но, так или иначе, в ходе детского развития подобного рода обстоятельствами намечается тот перелом, который разом делит жизнь ребёнка на две половины.

Чем же сказывается этот перелом внутреннего существования ребёнка на его личных отношениях к окружающей среде? Естественно, что пробуждающееся сознание выводит его из того безразличного отношения к окружающим, которое отличало его в пору несознательного детства. Взрослые всё ещё видят в нём наивного, доверчивого младенца и не замечают, что не только их действия, но и их нравственный склад часто подвергаются строгому суду. Припомним, что Нета сама собою заметила то противоречие, в которое, незаметно для себя, впал её отчим. Как часто дети являются судьями окружающего, видим мы и на других примерах. Княжна Катя отлично создала те противоречия, которые были в её воспитании, и поэтому «чувство справедливости оскорблялось в ребёнке». Иван Карамазов уже в десять лет понял то, «что растут они в чужой семье и на чужих милостях и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно». Наконец, по поводу детства Аркадия Долгорукого Достоевский замечает, что «у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьёй, оскорблённые неблагообразием отцов своих и среды своей». Обыкновенно мы забываем об этом, не обращаем на это внимания, удивляемся и негодуем, когда встречаем в питомцах судей нашей личности. Примеры маленьких героев Достоевского показывают, что это явление в порядке вещей.

Вместе с тем дети рано начинают постигать своё социальное положение и ту разницу, которая существует в этом отношении между людьми. Мы видим, что Аркадий Долгорукий очень рано узнал о «незаконности» своего происхождения и под влиянием этого сознания уже в отрочестве был «полон мстительной и гражданской

идеи». То же самое Достоевский утверждает о детях воспитательных домов. По его словам, эти ребятки чрезвычайно рано узнают, «что они не такие дети, как «те другие», а гораздо хуже и живут совсем не по праву, а лишь, так сказать, из гуманности».

Но вслед за пробуждением в детях сознания начинается как бы омрачение идеально чистого детского облика. Ответив себе на вопрос, кто он и каково его положение в ряду других подобных ему существ, ребёнок тем самым перестаёт быть цельной натурой. Так, уже в первые годы жизни Аркадию Долгорукому что-то мешает быть живым и радостным, и оттого он почти не знал светлой поры детства. Из этого можно заключить, что и в душах тех «вышвырков», о которых говорит Достоевский в своём «Дневнике», многого, видимо, недоставало для внутренней гармонии.

Вслед за развитием сознания в ребёнке начинает развиваться чувство чести, а точнее – сознание прав своей личности, выражающееся, с одной стороны, в самозащите против оскорблений, с другой – в притязании на превосходство. Появление этого чувства составляет вторую ступень в развитии душевной жизни ребёнка. Об этом свидетельствует история Аркадия Долгорукого. В детстве он выносит оскорбления лишь до известного времени, до тех пор, пока не укрепилось его сознание – с пониманием окружающего поднялся и протест против оскорблений. Однако есть натуры, в которых самолюбие как будто рождается вместе с ними. Такова княжна Катя. Самолюбие было главным началом её характера; оно проявлялось в ней независимо от оскорблений и было её природным свойством, постоянно присущим ей. Но и в ней оно соединялось с тонким и острым умом, который был развит не по летам.

Чем же может оскорбляться чувство личности в ребёнке?

Нета чувствовала оскорбление уже тогда, когда отец обещал ей гостинцев за похищение денег у матери. Здесь разговор идёт о самом тонком развитии названного чувства, так как ребёнок оскорбляется не действием, не насмешкой, а предположением недостаточно развитого в нём сознания. «Всё сердце моё изныло в одно мгновение, – вспоминает Нета. – В эту минуту я, ребёнок, понимала насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла любить его». Таким образом, к личному оскорблению примешивается и оскорбление за того, кто, предлагая в ребёнке скудость сознания, сам оказался ещё более слепым. В княжне Кате наблюдается проявление уже другого чувства личного достоинства; оно обнаруживается в притязаниях на власть, на господство над всеми окружающими. Усиленный подъём этого чувства возникает каждый раз, когда она видит неисполнение своих желаний или неподчинение себе. Его вызывал даже бульдог, живший в их доме и не признававший её власти над собой. Чувствуя полное бессилие в том, чтобы подчинить своей власти это страшное животное, она старается по крайней мере хоть раз восторжествовать над ним и с этой целью пускается на самую дерзкую и отчаянную выходку, преодолевая в себе сильнейшее чувство страха. Добившись своего, она почувствовала себя удовлетворённой и «бросила неизъяснимый взгляд, пресыщенный, упоённый победою». Этот пример наглядно показывает, что сила возбуждения в этом чувстве не зависит от важности мотивов, вызывающих его. Другой пример подъёма этого чувства представлен Достоевским в «Маленьком герое». Здесь личность ребёнка задета легкомысленным отношением взрослых, которые не хотели признавать в десятилетнем мальчишке прав на уважение. Ему, уже начавшему жить сознательной жизнью, неосторожно бросают в лицо целый ряд шуток и насмешек над его детски чистым чувством, которое пробудил в нём поразивший его образ женщины. При этом ему легкомысленно предлагают завоевать себе право на общее уважение таким поступком, на который не дерзнул никто из взрослых. Чтобы он доказал свою отвагу и заслужил право на внимание, ему предлагают сесть на бешеного верхового коня, ехать на котором отказались все. В ответ на этот вызов в ребёнке разом поднимается протест против тех оскорблений, которые он выносил: он возмущился всем своим воскресшим

духом, да так, что ему вдруг захотелось срезать наповал всех своих врагов и отомстить им за всё и при всех, показав теперь, какой он человек. «Незвиздев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и покрасневшись так, что слёзы обожгли ему щёки», он одним прыжком очутился на бешеном животном. Порыв этот оказал своё действие и доставил уязвлённому самолюбию ребёнка полное удовлетворение: встретивший безумную выходку крик пятидесяти голосов «отдался в моём замирающем сердце, — повествует он, — таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни». Подобный этому пример вспышки самолюбия видим мы в Коле Красоткине, с той лишь разницей, что здесь не было такого быстрого и сильного возбуждения чувства, как в «Маленьком герое»; не было потому, что роль лиц, действующих на самолюбие, здесь играли сверстники и самолюбие не оскорблялось, а только вызывалось на пробу. Но сама по себе выходка, на которую подстрекали ребёнка, была для него так же рискованна, как и задорная вспышка «Маленького героя»: он вызвался доказать, что не побоятся пролежать на полотне железной дороги между рельсами, в то время, когда будет проходить поезд. Таким образом, на карту ставилась сама жизнь и игра шла на то, чтобы завоевать право на равенство с мальчиками, старшими по возрасту, относившимися насмешливо и недоверчиво к дерзкому плану. И самолюбивое притязание на уважение одержало верх, хотя и стоило мальчугану сильного нервного возбуждения.

Чем же объяснить ту лёгкость, с которой ребёнок выходит из спокойного состояния и допускает несообразность поступков? Прежде всего, имеется в виду слабость воли ребёнка. Под влиянием этой слабости пропадает самообладание и сильнее действует воображение, от чего чувства теряют ровность и обращаются в аффекты. По крайней мере, в поступке «Маленького героя» видны все признаки состояния, называемого аффектом. Но как бы то ни было, уже сам факт, что в ребёнке появляется потребность не только защитить себя, но и обставить свою личность правами на уважение, несомненно указывает, что развитие этой стороны внутреннего существования ребёнка совершается не без влияния начинающего развиваться разума и что пробуждение в ребёнке чувства личности есть, таким образом, следствие дальнейшего развития сознания.

Наконец, ещё одну ступень в развитии ребёнка составляет пробуждение в нём сознательных симпатических влечений. Здесь подразумеваются такого рода сердечные волнения, которые, возникнув из неясных сердечных влечений, постепенно переходят в более определённый тип душевных движений к вызвавшему их лицу.

Пример душевных движений этого рода представляет нам детство княжны Кати. В начале повести мы застаем Катю в том состоянии душевного развития, когда она была ещё непосредственным ребёнком. Она любила резвиться, бегать, била подвижна, весела. Поселившись в их доме Нета была для неё совершенно непонятна. Между духовной жизнью обеих девочек лежала целая пропасть. То, чем жила внутри себя Нета, было совершенно чуждо представлению княжны, не испытывавшей в жизни ничего серьёзного, до того чуждо, что когда Нета вздумала выразить свои чувства к Кате, та встретила этот порыв непритворным изумлением. Обнаружившееся в Нете влечение показало ей неслыханной странностью. Сама она любила отца, была привязана к гувернантке, мадам Леотар, но её чувства были не больше чем привязанностью. Но под влиянием различного рода причин она внезапно почувствовала влечение к Нетте, и её душевное состояние вдруг изменяется. Изо дня в день она становится задумчивее. Характер её стал терять ровность; временами из оживлённого настроения она переходит в сосредоточенно-серьёзное. Она становится раздражительной, взыскательной, часто краснеет и сердится. Однако, несмотря на явные признаки перемены в душевной жизни, Катя всё ещё не хочет сознаться в возникшем влечении к Нетте даже перед собой. Она старается подавить возникшее чувство

или, по крайней мере, скрыть его от Неты, но сердце берёт своё, и между девочками устанавливаются отношения чисто романтического характера: долгие взгляды, смущение при встрече, сладкое чувство при каждом соприкосновении, наконец, переход от «вы» к «ты». С течением времени эти отношения не могли оставаться на одном уровне и должны были привести к открытому выражению чувств. Но когда это случилось, душевная жизнь Кати уже утратила прежнюю непосредственность: девочка изменилась настолько, что окружающие, не понимая совершившегося в ней внутреннего процесса, старались объяснить происшедшую в ней перемену каким-нибудь болезненным кризисом. Вместе с тем весь происшедший в ней процесс указывает, что при этом другие стороны её души должны были также развиваться.

Но уж если этот вид душевных движений может быть принят как признак значительного душевного развития, то в случаях, когда в сердечных влечениях можно усмотреть некоторый оттенок половых чувств, внутренний строй жизни ребёнка следует признать ещё более удалившимся от первичной стадии детской жизни. Этот вид душевных движений представлен Достоевским в повести «Маленький герой», содержанием которой служит изображение тех движений, какие происходили в душе ребёнка, впервые испытывающего нечто вроде половой любви.

Тот факт, что в «Маленьком герое» могло возникнуть подобного рода чувство, лучше всего доказывает след, который оставляло в его душе легкомысленное отношение к нему взрослых. Он говорит о себе, что, когда многие из прекрасных женщин, с которыми ему пришлось прожить некоторое время, ласкали его, он испытывал непонятное ему ощущение. «Что-то шелестило по моему сердцу, — вспоминает он, — до сих пор незнакомое и неведомое ему, но от чего оно подчас горело и возбуждало, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо моё». И, возбужденная этими неосторожными прикосновениями, душа одиннадцатилетнего мальчика становится доступной тем движениям, которые в обиходном языке называются влюбленностью. Как видно из повести, впечатление, произведенное на «Маленького героя» пробудившей в нём чувство женщиной, было вызвано её красотой. Его привлекала к ней та безукоризненная красота чистых, правильных линий лица, которая осталась в его памяти. Недаром ему запомнился и высокий рост красавицы, и её движения, «то медленные и плавные и даже как-то важные, то детски скорые». Но в его душе были впечатления и другого рода. По воспоминаниям «Маленького героя», вся душа этой женщины отражалась в её прекрасном лице, а между тем её внутренние качества были таковы, что не могли не вызывать симпатии. «Было что-то в лице её, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, лучше сказать, что пробуждало благородную возвышенную симпатию в том, кто встречал её». «Это бледное, похудшее лицо, в котором... ещё так часто просвечивал первоначальный детский ясный облик; ...эта тихая, но несмелая, колебавшаяся улыбка, — всё это поражало таким безотчётным участием к этой женщине, что в сердце каждого невольно зарождалась сладкая, горячая забота, которая громко говорила за неё ещё издали и ещё вчуже роднила с нею». Наконец, сюда добавлялось то впечатление страдающей, живущей под гнётом страха и сердечной тоски женщины, которое она оставляла в каждом и которого не могла не оставить в ребёнке, уже начавшем понимать человеческую душу. Он вспоминает «грустные, большие глаза», которые «смотрели робко и беспокорно, будто под ежеминутным страхом чего-то враждебного и грозного; и эта странная робость, — по его словам, — таким унынием покрывала подчас её тихие, кроткие черты, ...что, смотря на неё, самому становилось скоро так же грустно, как за собственной, как за родную печалью». Всё это запомнилось «Маленькому герою», всё это вошло в его душу. Эта доступность детской душе эстетических впечатлений и эта её способность откликнуться на душевное состояние другого, постигаемое в силу одного внутреннего влечения, и есть признаки значительного душевного развития.

Но вместе с чувством влюблённости «Маленькому герою» пришлось изведать ещё много новых чувств. Не говоря о волнениях стыда, досады, смущения, он в первый раз испытал и острое ощущение раздражения. Когда грубо затронули его чувство, так ревниво и тщательно оберегаемое от всех, в нём, по его собственному признанию, закипели «негодование и ненависть, которой доселе (он) не знал никогда, потому что только в первый раз в жизни испытал серьёзное горе, оскорбление, обиду».

В свою очередь, те составляющие, из которых сложилось его чувство, продолжают развиваться в нём как особые душевные состояния. Так, в нём до болезненности развивается сочувствие к положению и душевному состоянию женщины, на которой остановилось его внимание. Мальчик испытывал сердечные муки от мысли, что может раскрыться тайна этой женщины, разрывался от тоски, видя её горе, и страдал от сознания своего бессилия помочь ей. Кроме того, чувство, затронутое в нём красотой женщины, открылось и другим воздействиям. Вскоре его внимание останавливается на природе. Он отдаётся созерцанию Божьего мира, который начинает действовать на него своими красотами. В заключительных строках повести Достоевский говорит, какое настроение вошло в душу «Маленького героя», когда он вслед за испытанным волнением, которое вызвал в нём последний эпизод его романа, остался один среди окружающей его природы. «Какое-то сладкое затишье, будто навеянное торжественной тишиной картины, мало-помалу смирило моё возмущённое сердце, – говорит он про себя. – ...Вся душа моя как-то глухо и сладко томилась, будто прозрением чего-то, будто каким-то предчувствием. Что-то робко и радостно отгадывалось испуганным сердцем моим, слегка трепетавшим от ожидания... И вдруг грудь моя заколебалась, заныла, словно от чего-то пронзившего её, и слёзы, сладкие слёзы брызнули из глаз моих. Я закрыл руками лицо и, весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, ещё неясному, прозрению природы моей. Первое детство моё кончилось с этим мгновением...»

Как, однако, слагается в душе одиннадцатилетнего мальчика чувство, слишком преждевременное для его возраста? Присущи ли ему все те элементы, из которых состоит этот вид душевных волнений при обычных условиях развития?

Помимо физиологической стороны, психология различает в этом чувстве три элемента: влечение к предмету любви, признание цены любимого существа и сочувствие к нему. В данном случае отношение между этими слагаемыми представляется не вполне таким, каково оно бывает в обычных условиях. Прежде всего, физиологическая сторона чувства чрезвычайно слаба. Как можно видеть из рассказа, его возникновению предшествовало лишь смутное, непонятное ощущение, которое впервые было вызвано в мальчике неосторожным обращением с ним молодых и прекрасных женщин. В последнем эпизоде романа он испытывал некоторое волнение, но то биение сердца, которое он пережил, было лишь отражением его душевного трепета. Из других элементов, входящих в состав этого чувства, элемент влечения, который является самым существенным при нормальных условиях, здесь не составляет главного начала. Влечение, которое в развитом субъекте достигает огромного напряжения и выражается в стремлении к исключительному обладанию предметом своего обожания, здесь вовсе не проявляется. Напротив, мальчик выказывает в этом отношении истинное великодушие и не обнаруживает ничего подобного тому душевному волнению, которое называется ревностью. А между тем он был свидетелем такой сцены, которая, будь на его месте взрослый человек, непременно вызвала бы это чувство. С другой стороны, элемент сочувствия, который не имеет большого значения в этом виде любовного волнения, составляет здесь практически самую существенную сторону. Под влиянием именно этой стороны чувства душевное состояние женщины, на которой остановилось его внимание, нашло в его сердце такой сильный отклик. Отсюда следует и то, что никаким эгоистическим чувствам в его душе места не было.

Однако не всегда в детях это чувство принимает безусловно чистую окраску. Подобного рода волнение мы наблюдаем и в Лизе Хохлаковой, но уже далеко не в том безупречном виде, как в «Маленьком герое». Испорченная воспитанием, преждевременно развитая физиологически, она обнаруживает далеко не безупречные в нравственном отношении влечения (поцелуй Алёше, предложение Ивану Карамазову).

Таковы ступени душевного развития человека в период детства. Указанная здесь преемственность, конечно, не является обязательным условием во всех случаях. В ходе внутренней жизни ребёнка может и не представиться случая для тех душевных волнений, которыми сопровождается такая степень развития, как, например, влюблённость, но само появление чувств, характеризующих эту степень, едва ли будет возможно, если в человеке не будет развита способность чувствовать личные волнения, к которым относятся чувства чести и самоуважения. И это потому, что те волнения, которыми сопровождается наше отношение к лицу противоположного пола, слишком широко захватывают область душевной жизни и заставляют звучать все струны человеческого сердца.

Обратимся к произведениям Достоевского ещё с одним вопросом: на чём основывают дети своё отношение к окружающим и чем определяются их симпатии и антипатии?

Присматриваясь к тому, как изображены эти отношения у Достоевского, нельзя не видеть, что детская среда не только составляет своё мнение о лицах, которые приходят с ней в столкновение, но по этим мнениям устанавливает и своё отношение к ним. Дети высказывают свой суд, часто строгий и неумолимый, хотя и не всегда верный. Это осмысленное отношение к окружающим начинается почти вслед за пробуждением сознания. Так, Нета стала обращать внимание на ненормальность отношений между отчимом и матерью, как только начала себя помнить. «Приглядываясь к ним обоим, — говорит она, — я поняла вполне их взаимные отношения друг к другу: я поняла эту глухую, вечную вражду их, поняла всё это горе и весь этот чад беспорядочной жизни, которая гнездилась в нашем углу, конечно, поняла без причин и следствий, поняла настолько, насколько понять могла». Сообразно своему пониманию, у неё возникают и суждения о лицах, и отношение к ним. Представления, которые она создала о личности каждого, были неодинаковы. Отсюда возникает и неодинаковый характер её отношений к каждому из них. Она любила отца, чувствовала к нему влечение, матери боялась и чуждалась. Где же источник её неравных симпатий? Прежде всего, это разившееся под влиянием личных невзгод сочувствие к страдающему, угнетённому существу, каковым был в её представлении отец. Основа симпатий лежала, таким образом, в особенных свойствах её личности. Не будь в ней этой способности к сочувствию, отчим не вызвал бы в ней такой сильной любви к себе. Однако на отношение к нему Неты, несомненно, влияли и его обращение с ней, его манера держать себя. Он был ей более ровня, чем мать: «не так серьёзен и угрюм», как последняя; «часто в нём проявлялось какое-то фиглярство, какие-то детские замашки», вследствие чего она «меньше боялась его и даже меньше уважала его, чем матушку». Наконец, он умел привлечь её своей лаской, которая редко выпадала на долю ребёнка со стороны матери. Последняя была строга, не снисходила до детских радостей, не спускалась до детских забав. Таким образом, симпатии детей предпочтительно склоняются на сторону тех, кто сумел привлечь их внутренним складом своей души.

Бывают случаи, когда ребёнок берёт верх над взрослыми, подчиняет их себе и даже становится в покровительственные отношения. У Достоевского четыре подобных примера: та же Нета, питавшая к своему отцу, по её собственному признанию, какое-то сострадательно-материнское чувство; Лиза Хохлакова, Коля Красоткин и Коля Иволгин. Нета взяла верх над отцом, как только поняла, что стала необходима для него. Она внутренне гордилась этим и «даже иногда с ним кокетничала». Лиза

Хохлакова вполне подчинила своей власти мать, как только заметила, с одной стороны, слабость её чувств к ней, с другой – отсутствие каких бы то ни было убеждений и парализованную волю. Коля Красоткин также понял, что мать, лишённая других привязанностей, слишком нуждается в его любви и потому заискивает перед ним. Ей всё казалось, что мальчик недостаточно любит её, а он, заметив её опасения, нарочно становится неподатливым на ласки и, благодаря этому, вполне торжествует над ней; «действуя на неё почти деспотически», он вполне подчинил её себе. Что касается Коли Иволгина, то здесь власть мальчика над отцом подразумевалась сама собой, так как старый генерал, лишённый способности владеть собою, по необходимости отдавался во власть каждому, кто вздумал бы взять его под опеку. Разумеется, это подчинение было условно: Коля, например, не мог оказать на него никакого влияния, чтобы отучить от гибельного для него порока, мальчик превратился в няньку, но не в силах был вылечить старика от болезненных привычек.

Таким образом, во всех приведённых случаях дети подчиняют себе взрослых, когда последние по какому-либо причинам выказывают слабость воли.

Наконец, в сочинениях Достоевского мы видим замечательный пример того, как дети нравственно теряют своих родителей, когда последние почему-нибудь вдруг предстают перед ними совсем в другом свете. Это, например, тот случай, когда Нета осознала, какие побуждения руководили её отчимом, умышленно толкавшим её на зло. Любопытно подметить, как отозвалось это сознание на чувстве и отношениях ребёнка. Достоевский сам указывает на то, что происходило в душе Неты, когда её сознание разом осветило истинный смысл поведения отца. «Всё сердце изныло у меня в одно мгновение, – говорит она. Я почувствовала в эту минуту, что ему не жалко меня, и он не любит меня, потому что не видит, как я его люблю, и думает, что я за гостинцы готова служить ему. В эту минуту я, ребёнок, понимала его насквозь и уже чувствовала, что меня навсегда уязвило это сознание, что я уже не могла любить его, что я потеряла моего прежнего папочку». Следует отметить, что здесь говорят и нравственные инстинкты, заставляющие почувствовать мерзость поступка, и чувство боли за нравственное падение дорогого лица, которое она привыкла представлять в другом свете, и, наконец, сознание оскорблённого человеческого достоинства. Но, несмотря на это, в ту роковую ночь Нета всё-таки идёт за ним и оставляет мать: чувство любви в ней не могло исчезнуть сразу, как бы ни противоречило ему сознание.

Кроме примера, рисующего отношения между родителями и детьми, повесть «Неточка Незванова» даёт также прекрасное изображение детской дружбы, начинающей с её возникновения и до того момента, когда дружеские отношения принимают характер сильнейших взаимных влечений. Выше мы рассмотрели, какое значение имели эти привязанности в ходе душевного развития личности. Теперь проанализируем те условия, которыми вызывались эти отношения, равно как и всю историю их развития, каковой она представляется из содержания повести.

Мотивы, которыми обуславливались взаимные симпатии между княжной Катей и Неточкой Незвановой, не были одинаковы для обеих. Как можно судить из признания Неты, для неё роль первого толчка играли впечатления чисто эстетического свойства. «С первого взгляда на неё, каким-то счастьем, будто сладким предчувствием, наполнилась вся душа моя» – вспоминает Нета и при этом говорит, чем прежде всего было привлечено её внимание. Катя вызвала в Нете симпатию прежде всего своей красотой. По её представлению, это была такая красота, «пред которой вдруг останавливаешься, как пронзённый, в сладостном смущении, вздрогнув от восторга». При первой её улыбке слабые нервы большой девочки «заныли от сладостного восторга». Вполне понятно, эта причина далеко не единственная.

Влечение Кати к Неточке исходило совсем из других оснований. Здесь, скорее, играли роль причины чисто морального характера, на первый взгляд даже непонят-

ные. По собственному признанию Кати, она стала любить Нету с того времени, когда, оскорбив её, должна была просить у неё прощения. Почему же это обстоятельство могло оказать такое влияние на её сердце? Можно предположить, что впервые в жизни Катя испытала чувство сострадания, которое прежде ей, не знавшей нужды и горя, было совершенно неведомо. Она, конечно, почувствовала и укоры совести за свою прежнюю жестокость в отношении Неты. Эти сострадание, жалость, сознание своей неправоты по отношению к чуткому к правде ребёнку изменили её расположение в противоположную сторону. Однако, хотя присущее ей чувство справедливости и должно было рано или поздно указать на несправедливость её отношения к Нете, но могло и не вызвать любви и влечения к ней.

Как Нету привлекала прежде всего внешняя красота Кати, так и последнюю могли подкупить нравственные свойства Неты: её терпеливая любовь, доброта, наконец, готовность пожертвовать собой для других. Во всяком случае, её чувство было лишь ответным на то влечение, которое выказывала по отношению к ней Нета, и шло параллельно ему, развиваясь по мере того, как росло чувство Неты.

Как же выражались взаимные симпатии этих двух девочек?

Нельзя не заметить, что их проявления вполне соответствовали как особенностям их характера, так и мотивам, вызвавшим чувство. В Нете, поражённой красотой Кати, сразу возникло сильное влечение к будущему другу детства, причём эстетический характер первого впечатления сказался и на самом проявлении чувства. «Её появления ждала я, как счастья, – говорит Нета, – мне так хотелось поцеловать её». «Появление её всегда более или менее приводило меня в восторг. Я не спускала с неё глаз, и когда она уйдёт, бывало, я всё ещё смотрю, как зачарованная, в ту сторону, где она стояла». Робкая, застенчивая, угнетённая и болезненная, и всем своим прошлым, она сразу же стала в пассивное положение. Ей изо всех сил хотелось понравиться Кате, и потому она боялась за каждое своё слово, за каждое движение и сердечно сожалела, когда при всём старании не могла исполнить желаний подруги. Высшей степени напряжения её чувство достигло, когда Катя заявила о себе геройским поступком с бульдогом, о котором говорилось выше. С этих пор её чувство окончательно принимает характер страстного влечения. Лишённое возможности проявляться открыто, оно выражается в тоске, в тайных мечтаниях. Избегая встречи с Катей, Нета испытывает смущение при каждом случае столкновения с ней: её сердце при этом начинало стучать и голова кружиться. Это тайные страдания продолжались целый месяц; она не спала по ночам, вставала с постели и часами смотрела в лицо Кати, втихомолку хранила взятые у неё украдкой вещи, вроде платка, ленточки, и целовала их, обливаясь слезами. Словом, в ней происходило душевное возбуждение, чрезвычайно похожее на волнение любви.

Самостоятельный, независимый нрав Кати не позволил ей сразу отдаться возникшему в ней чувству, как было с Нетой. Первоначально она почувствовала даже нерасположение к Нете. Да и позже, когда нерасположение постепенно сменилось симпатией, Катя всё-таки не сразу отдалась своим ощущениям. Она как будто старалась подавить вновь явившееся в её душе чувство и ни за что не хотела выразить его перед Нетой. Под влиянием этого она переменялась в настроении, сделала раздражительной, нервной. Она перестала скрывать своё чувство только тогда, когда это было бы уже явной несправедливостью по отношению к Нете, добровольно принёсшей себя в жертву, чтобы выручить подругу. И как только её чувство беспрепятственно вылилось наружу, она изменила и самый образ отношений к Нете: сделала покорна, перестала проявлять властолобивые притязания к ней, стала нежна и предупредительна.

Нельзя не заметить ещё одной черты в истории дружбы этих двух девочек: их дружеские отношения сложились сами собой, без всякого участия третьих лиц. Лишь однажды в их отношения было вмешательство со стороны взрослых, и оно чуть не испортило всего дела, во всяком случае, ни к чему не привело. Здесь подразумева-

ется ситуация, когда отец Кати заставил её извиниться перед Нетой за нанесённую обиду. Катя исполнила это приказание, но неискренно, без всякого убеждения в его внутренней необходимости. Это указывает отчасти, что внутренний мир ребёнка не вполне укладывается в размеры тех условных требований, которые ему предъявляются, и развивается сам собою, независимо от того, как хотят его устроить взрослые.

Таким образом, мы проанализировали мир душевной жизни ребёнка, каким он изображен в художественных произведениях Достоевского.

Теперь посмотрим, что же содержат в себе его сочинения для характеристики положения воспитательного дела в современном писателю обществе, в школе, в семье: как представлены в сочинениях Достоевского отношения взрослых к детям, какие воспитательные задачи и цели приписываются в них образованному обществу и чего не достаёт в этом отношении.

Характер этих отношений к детям лучше всего обрисовывается у Достоевского в повестях «Нечка Незванова» и «Маленький герой». В обеих повестях перед нами прежде всего выступает полное пренебрежение со стороны взрослых к душевному миру ребёнка. Мы уже указывали, как отчим Неты нисколько не задумывался о своих действиях в отношении её. Он пользовался слепой любовью к нему девочки, не понимая её душевной борьбы и даже не стараясь заглянуть в глубь её души. Мало того, он принял её самопожертвование за детское легкомыслие, на которое, по его разумению, можно было легко повлиять обещанием побрякушек или лакомства. К каким последствиям привело такое пренебрежение внутренним миром ребёнка, также было указано: в ту самую минуту, когда Нета осознала истинную сущность направленных против неё действий, её вера и симпатии к отцу утратились невозвратно. Правда, здесь перед нами человек, не вполне нормальный, человек, который под влиянием алкоголизма не только дошёл до полного равнодушия ко всему, что делалось вокруг него, но и потерял всякое чутьё в распознавании нравственных свойств своих действий. Но вот в «Маленьком герое» представлены вполне нормальные люди, которые, тем не менее, сделали предмет своих острот и грубых выходов одно из интимнейших событий душевной жизни попавшего в их среду ребёнка. И хотя в данном случае такое отношение к чувствам мальчика не имело серьёзных последствий для его душевного развития, уже одно то, что оно вызвало сильное возбуждение не соответствующих его обычному состоянию волнений (стыд, гнев, отчаяние), указывает на ненормальность подобного рода отношений. Важнее всего здесь то, что от ребёнка не ускользает ни тот фальшивый тон, в котором общаются с ним взрослые, ни та ложь, которую они так легко позволяют себе при этом. Они намекают на его дурные чувства к М-ме М., будто бы подмеченные в нём, в которые сами, однако, не верили. Оскорблённый этой явной ложью, мальчик обращается к одной из своих обидчиц со словами, в которых слышится раздражение и укор за клевету, возмущившую его детскую душу: «И не стыдно вам, – вспыхнул он вдруг, – вслух... при всех дамах... говорить такую худую неправду? Вам, точно маленькой... при всех мужчинах... Что они скажут?.. Вы – такая большая... замужняя!» Мальчик напоминает впечатление, произведённое на него беззастенчивыми налёками взрослых, в таких словах: «Я был в ужасном недоумении, ужасе даже, узнав, что есть на свете такие смешные и злые дамы, которые говорят с мальчиком про такие пустяки...»

Впрочем, то отношение взрослых к внутреннему миру детей, какое выступает в приведённых примерах, можно объяснить не только одной небрежностью или известной долей легкомыслия: в этих случаях нередко имеет значение предвзятости мнений, с которой взрослые часто судят о внутреннем содержании душевной жизни ребёнка. Так, мать Кати, княгиня Х., никак не могла смириться с тем, что Нечка Незванова не обнаружила перед ней и перед посетителями её салона тех свойств души, которые всем им хотелось видеть в этом ребёнке. Оттого они и смотрели на

Нету как на запуганную, слишком обыкновенную и даже глупенькую девочку и с этим заключением оставили её, наконец, в покое.

Однако и прямо противоположное этому отношение, выражающееся в насильственном вторжении во внутреннюю жизнь ребёнка с целью подчинения его своему режиму, также мало достигает цели, которой обычно стараются оправдать это вторжение. На примере отца княжны Кати мы уже видели, что его вмешательство в отношения девочек, вытекавшее из самих лучших побуждений, привело лишь к формальному и вовсе не искреннему примирению между ними. Когда же такое вмешательство выражается в тайном наблюдении за ребёнком, в слежке за каждым его шагом, оно неизбежно ложится на него тяжёлым гнётом. Так, за Нетой в доме княгини Х. был устроен постоянный надзор, было приказано не терять её из виду ни на одну минуту. Такие условия не могли не сопровождаться для неё чувством стеснения. Излишняя внимательность отзывается в Нете чувством томительного беспокойства. Девочке казалось, что её для чего-то берегут, что-то хотят с ней сделать, и она старалась уходить куда-нибудь по-дальше, чтобы в случае нужды знать, куда спрятаться. Под влиянием вечно присущего ей тревожного состояния её душевная жизнь не могла совершаться равно и спокойно.

Сравнительно реже, однако, встречаются и такие случаи, как сознательное попираание личности ребёнка или умышленная жестокость в обращении с детьми. На примерах подобного рода один из героев Достоевского, Иван Карамазов, даже основывает своё религиозно-философское мировоззрение. По его философии, такие явления жизни, как зверское обращение взрослых с неповинными, чистыми сердцем детьми, составляют самое лучшее доказательство неустойчивости тех начал, на которых заждется нравственный строй мира (роман «Братья Карамазовы», глава «Бунт»). Примерами подобного явления у Достоевского являются Нелли, Аркадий Долгорукий (у Тушара), Илюша. Все они страдают от жестокого обращения. Но наиболее яркие примеры в этом роде приводит Иван Карамазов. Им берутся случаи страшно жестокого обращения с детьми, начиная со зверства турок и башибузуков над славянскими детьми во время последнего славянского восстания и кончая картинками, характеризующими нравы современной «интеллигентной» семьи. Одна из этих картин представляет, например, как образованный господин и его дама розгами секут свою семилетнюю дочь; прутья выбираются нарочно с сучками («садче будет»), причём разгорячённый родитель в конце производимой им экзекуции доходит до какого-то сладострастия. «Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребёнок кричит, ребёнок, наконец, не может кричать, задыхается: «папа, папа, папочка, папочка!..» В другом подобном «случае» маленькую пятилетнюю девчонку возненавидели родные отец с матерью, «почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные». Они подвергали её самым жестоким истязаниям и наконец дошли до того, что в холод, в мороз на всю ночь запирали в отхожее место. Третий случай таков, что богатейший генерал затравливает собаками восьмилетнего ребёнка на глазах его матери за то, что тот зашиб ногу его любимой собаке. При этом устраивается самая торжественная обстановка и для назидания собирается вся дворня.

С какой психологической основой представлены все приведённые здесь примеры? Откуда в человеке появилась возможность проявления такого странного зверства? Достоевский сам даёт ключ к пониманию их психологических оснований. Судя по тому, какими чувствами сопровождаются зверские действия в самих мучителях, здесь идёт речь о каком-то особом виде чувственного наслаждения. Мучащие детей турки и образованный господин, секущий с остервенением родную дочь, во время совершения экзекуций испытывают сладострастные ощущения. Иван Карамазов утверждает, что «есть особенное свойство у многих в человечестве — это любовь к истязанию детей, но одних детей. Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко,

как образованные и гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищённость — то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деваться и не к кому идти, — вот это — то и распяляет гадкую кровь истязателя». Таким образом, здесь прямо выставляется напоказ чувственный характер волнения, переживаемого мучителями. Хотя в турке, наставляющем дуло в смеющееся личико ребёнка, животная алчность крови неизмеримо сильнее, чем сладострастное чувство, с которым съёк свою дочку русский отец, но, несомненно, и тут и там возбуждение совершенно однородного характера.

Обратимся теперь к тем произведениям Достоевского, в которых он высказывает свои непосредственные суждения по поводу разбираемого явления. Картинки, подобранные Иваном Карамазовым, были действительными фактами, документально засвидетельствованными. Ещё до появления на свет «Братьев Карамазовых» Достоевский говорил об этих фактах в своём «Дневнике».

В 1876 году в Петербургском Окружном Суде разбиралось дело Кр-га, который обвинялся в бесчеловечном обращении с собственным ребёнком, семилетней девочкой. В следующем году было возбуждено подобное дело в Калуге против родителей Дж-их. Подробности того и другого дела сходны с теми «случаями», которые приводятся Иваном Карамазовым. Так, Дж-ие, например, помимо побоев, держали своих детей в самых дурных жизненных условиях: оставляли в холодной комнате, без пищи, подвергали на ночь самому возмутительному одиночному заключению и т.п. По поводу обоих этих процессов Достоевский сказал своё слово в «Дневнике», указывая на них как на такого рода явления, которыми, с одной стороны, характеризуются отношение общества к вопросу о воспитании детей, с другой — самое состояние семьи среднего круга того времени. Как на возмутительный факт Достоевский указывает на то, что семилетнюю девочку допустили явиться на суд, где она всё видела, всё слышала и по наущению взрослых даже лгала сама на себя. Мало того, «здесь же, на суде, открыты были взрослые и серьёзные люди, гуманными даже людьми, вслух пред всей публикой секретные пороки ребёнка, вдобавок мнимые, вымышленные обвиняемыми и их защитником». Ни власть, ни общество, таким образом, не пожалели ребёнка, не обратили внимания на то, как может отозваться в его душе прикоснувшаяся к нему на суде грязь. Между тем жалость и осторожное обращение с открытой на все влияния детской душой должны, по замечанию Достоевского, прежде всего иметь место в наших отношениях с ребёнком. «Эта жалость, — говорит он, — драгоценность наша, и искоренять её из общества страшно. Когда общество перестаёт жалеть слабых и угнетённых, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно».

С какой стороны характеризует себя в этих процессах русская семья, раскрывается главным образом в деле Дж-их. То бессердечие, которое обнаружили последние, есть, по мнению Достоевского, неизбежное следствие обуявшей их лени и эгоизма. «Всё от лени, — говорит Достоевский, — и сердца у них ленивые». От лени вечный беспорядок в доме, беспорядок в делах, а между тем они ничего так не ищут, как покоя. Под влиянием этого эгоистического стремления исключительно к собственному покою в людях появляется желание отстраниться от всех долгов и обязанностей, которое, в свою очередь, рождает и развивает в эгоисте убеждение, что все, кто бы с ним ни сталкивался, ему должны. «Неисполнение этих фантастических долгов принимается, наконец, сердцем, как обида». Отсюда рождается «озлобленное чувство», которое обрушивается прежде всего на детей, в силу того, что «они всех ближе под рукою, а всего пуще то, что никакого контроля: «мои, дескать, дети, собственные!» Это чувство к детям, не понимающим, что родителям нужен покой, может переродиться в конце концов «в настоящую месть, а под поощрением и

подстрекательством безнаказанности – даже в зверство...» «И зверство это не от жестокости, а именно от лени», – заключает Достоевский.

Таким образом, в семейных отношениях, по характеристике, сделанной Достоевским, проявляется прежде всего не забота о детях, а небрежное отношение к ним, вытекающее из лени и эгоистического самооберегания от всех волнующих душу обязанностей. То, что Достоевский смотрит на это явление не как на случайное, а видит в нём общий и повсюду наблюдаемый признак семейных порядков, ясно из его следующих слов: «В написанных законах, – говорит он, – нигде нет статьи, ставящей преступлением ленивое, неумелое и бессердечное отношение отцов к детям. Иначе пришлось бы осудить пол-России, куды, гораздо больше».

Таким образом, от отдельных частных случаев, рисующих отношение взрослых к детям, мы подходим к указанию на общий характер семейных отношений, как представляется он наблюдениям Достоевского. Чем же характеризуется, по его мнению, семейный строй того периода вообще?

В своих романах Достоевский выводит исключительно такой тип семьи, который с социальной точки зрения может быть назван типом смешанно-неопределённого характера. Отличительную особенность такой семьи составляет то, что в ней нет ничего исторически сложившегося, так как она состоит из членов, неоднородных в сословном отношении. Этот неопределённый тип семьи проведён у него по всем романам без исключения, очевидно как тип, преобладающий в современном ему быту среднего круга. Помимо своей разнородности, такой тип семьи характеризуется постоянно присутствующим ему состоянием брожения, которое возникает вследствие отсутствия прочных и общих для всех её членов убеждений и одинаково сложившихся понятий. Самый типичный образец такой семьи даёт нам роман «Подросток». Глава – русский дворянин, воспитавшийся на идеях 1840-х и 1850-х годов, или, по его собственному определению, «всемирный дворянин», отличающийся необъятной широтой взглядов и чувств, прошедший от атеизма до настоящего религиозного аскетизма и, конечно, переживший всё это гораздо более мыслью, чем сердцем. Мать – русская крестьянка, бывшая крепостная, глубоко верующая, с простыми народными понятиями. Между ними нет ничего общего, что роднило бы их между собой; каждый смотрит в свою сторону. Разнородность этой четы как нельзя более отразилась на сыне. Продуктом этой разнородности явилось то брожение, которое чуть не погубило его в самых юных годах, когда он, не впитавший из окружающей атмосферы устойчивых понятий, был предоставлен исключительно собственным силам. То же, с различными видоизменениями, повторяется и во всех других семьях, выведенных Достоевским: везде отсутствие прочных начал, которыми могла бы определиться жизнь семьи.

В своём «Дневнике» Достоевский определяет такое состояние семейственности словом «случайность». Эта «случайность», по его определению, проявляется в «утрате современных отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их между собой, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь... Эта идея, эта вера может быть даже, пожалуй, ошибочная, так что лучшие из детей впоследствии сами бы от неё отказались, по крайней мере, исправили бы её для своих уже детей, но всё же самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи, есть уже начало порядка, т.е. нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, – но порядка». В противоположность этому связующему началу, отцы в таких семьях представляют, «во-первых, поголовное и сплошное отрицание прежнего (но зато лишь отрицание и ничего положительного); во-вторых, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько голов, столько умов, – попытки, раздробившиеся на единицы и лица, без опыта, без практики, даже без полной веры в них их изобретателей; ...наконец, в-третьих, ленивое отношение к

делу». Соответственно такому роду семейных начал господствующими типами отцов в средних кругах Достоевскому представляются следующие два: во-первых, тип ленивых и вялых эгоистов, отношение которых к собственной семье выражается обыкновенно в такой форме: «з, пусть будет что будет! чего нам заботиться? пойдут дети, как и все, во что-нибудь выровняются; надоедают только они очень, хоть бы их вовсе и не было!»; во-вторых, тип прилежных, часто очень прилежных и даже с идеями, но до того расшатанных и неустойчивых, что «в сущности они и сами даже не верят себе ни в чём, ибо говорят с чужого голоса, примкнули к чуждой жизни и к чуждой идее и потеряли всякую связь с родной русской жизнью». Достоевский приводит примеры отношения к воспитанию этой последней категории. Один из таких отцов, «пречестнейший человек сам по себе», прогнал трёх нянек от своих младенцев за то, что они учили последних молиться, и как бы в предупреждение могущего возникнуть зла решается заменить их англичанкой; второй, чтобы предупредить появление в сыне «ужасных детских привычек», преждевременно ускоряет его половое развитие и с этой целью вводит пятнадцатилетнего мальчишку в атмосферу развращающих влияний; третий, наконец, вводит семнадцатилетнего сына «до самых передовых идей», а тот самым естественным образом сводит эти передовые мысли (нередко очень хорошие) на то, что «если нет ничего святого, то, стало быть, можно делать всякую пакость». Однако и этих, горячих и прилежных, но утративших почву под ногами, немного. «Ленивых, — по словам Достоевского, — бесконечно больше», «необыкновенное множество».

Наряду с этими образчиками отцов, такое же обычное явление составляет, по Достоевскому, тип «маменек», преследующих в воспитании детей прежде всего ту цель, чтобы сделать их пригодными для света, и добивающихся главным образом того, чтобы сынок вышел блестящим молодым человеком и салонным очарователем. А то, что в своём большинстве эти блестящие молодые люди «есть не что иное, как умственные пролетарии, нечто без земли под собою, без почвы и начала, международные межеумки, носимые всеми ветрами Европы», «маменькам» до этого нет решительно никакого дела. Разумеется, буквально в таком виде это явление принадлежит далеко не всем кругам общества, но в разных видоизменениях и, так сказать, в разных масштабах оно повторяется везде. По замечанию Достоевского, сплошь и рядом заботы семей о детях сводятся исключительно к погоне за общественными связями, которых «первое всего надо родительскому сердцу», ибо, как говорит один из родителей у Достоевского, «прочее всё приложится во востребованию».

Таким образом, весь строй семьи того периода представляется Достоевскому слишком неустойчивым и непрочным. «Никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более не рассортировано и не оформлено, как теперь», — говорит Достоевский. «Где вы найдёте теперь такие «Детства и Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчётливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и своё семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и Мире» его же? Все эти поэмы теперь не более лишь, как исторические картины давно прошедшего».

Чего же недостаёт семье?

«В семьях наших, — говорит Достоевский, — о высших целях жизни почти и не упоминается, а об идее бессмертия не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства, да ещё, пожалуй, с нарочным назиданием». «Ясно, по крайней мере, до наглядности, — продолжает Достоевский, — что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственных силы и ужасно... От наших умных людей и вообще от руководителей своих наша молодёжь может заимствовать в наше время скорее лишь взгляд сатирический, но уже ничего положительного, т.е. во что верить, что уважать, обожать, к чему стремиться... А если бы и смогли, и в силах ещё были ей передать что-нибудь из правильных указаний в семье

или в школе, то опять – таки и в семье и в школе (конечно, не без некоторых исключений) слишком уж стали к этому индифферентны за множеством иных, более практических и современно интересных задач и целей». Это предоставление детей самим себе заключает тем большую опасность, что волевое начало в детской душе, унаследованное от отцов, опять – таки является слишком слабым. Ребёнок не может противостоять случайному наплыву мыслей и легко делается их жертвой. Разбирая случай самоубийства одного двенадцатилетнего мальчика – гимназиста, Достоевский старается уяснить себе тот внутренний процесс, который должен был происходить в душе несчастного ребёнка. Этот мальчик, наказанный за что – то гимназическим начальством в день своих именин, решил тут же, не выходя из гимназии, повеситься. Достоевский сопоставляет этот случай с теми мыслями о смерти, которые приходили в голову маленькому герою «Детства и Отрочества» гр. Л. Толстого. По его предположению, здесь действовали «подавленные, ещё не сознательные детские вопросы, сильное ощущение какой – то гнетущей несправедливости, мнительное, раннее и страдальческое ощущение собственной ничтожности, болезненно развившийся вопрос: «почему меня так все не любят?», страстное желание заставить жалеть о себе, то есть то же, что страстное желание любви от них всех, – и множество, множество других усложнений и оттенков». И у гр. Толстого оскорблённый Николенька воображает себя умершим, а своих оскорбителей – предающимися позднему раскаянию о нанесённом ему унижении. Но дальнейшее сопоставление этих двух примеров – литературного и реального – говорит не в пользу последнего. «Мальчик гр. Толстого, – говорит Достоевский, – мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как они войдут и найдут его мёртвым – и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь мечтать: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребёнке и не довёл бы его мечту до дела, а тут помечтал, да и сделал».

Впрочем, безразличие и безучастие, с каким родители относятся к своим детям, невыгодно прежде всего для самих отцов. Ребёнок, чувствуя унижительное положение, в которое ставят его жестокие и нерадивые родители, может ожесточиться и окончательно потерять любовь не только к ним, но и к родному гнезду. «Он не простит, он возненавидит свои воспоминания, своё детство, проклянёт своё бывшее родное гнездо и тех, кто был с ним в этом гнезде», – говорит Достоевский. Это произойдёт рано, уже в юности. Лишённый нормального семейного воспитания, «юноша вступает в жизнь один, как перст; сердцем он не жил, сердце его ничем не связано с его прошедшим, с семейством, с детством...» «Нужда, забота отцов отражаются в их (детей) сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты и, что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из – за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство. И долго потом в жизни, может быть всю жизнь, человек склонен слепо обвинять этих прежних людей, ничего не вынеся из своего детства, чем бы он мог смягчить эту грязь воспоминаний и правдиво, реально, а, стало быть, и оправдательно взглянуть на тех прошлых, старых людей, около которых так уныло протянулись его первые годы».

Даже в отношении практических задач идеалы воспитания не возвышались над посредственностью. Круг родительских представлений, касающихся будущего их ребёнка, обычно ограничивался материальным довольством и положением. Но более всего высказывалось опасение, как бы жизнь ребёнка не выбилась из обычной колеи. «Какая мать, нежно любящая своё дитя, – говорит Достоевский в «Идиоте», – не испугается и не заболит от страха, если её сын или дочь чуть – чуть выйдут из рельсов. «Нет, уж лучше пусть будет счастлив и проживёт в довольстве и без оригинальности», думает каждая мать, закачивая своё дитя. А наши няньки, закачивая детей, спокон веку причитывают и припевают: «будешь в золоте ходить, генеральский чин носить!» И так, даже у

наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья, и, стало быть, был самым популярным национальным идеалом спокойного, прекрасного блаженства».

Помимо того, что сказано Достоевским по вопросу о состоянии семьи, наберётся немало другого рода явлений, характеризующих отношение к детям и детскому вопросу. Дело в том, что этот вопрос далеко не исчерпывается одной заботой о детях в пределах их семейного круга. Взятый во всей своей широте, он может рассматриваться, как один из социальных вопросов, так как та или иная его постановка всегда до известной степени свидетельствует о нравственном уровне общества и его нравственных идеалах, выражая те задачи и требования, какие существуют в нём в отношении подрастающего поколения и его будущего. Посмотрим, как же представлено Достоевским отношение общества к детскому вопросу, и в каком свете является у него с этой стороны само образованное общество.

Одним из явлений, характеризующих общественную среду, служит, по Достоевскому, отношение к тем детям, которых мы привыкли встречать на улице ходящими «с ручкой» и обрастающими свою бродячую жизнь в особого рода профессию. Достоевский коснулся этого явления жизни в январском номере «Дневника» за 1870 год статьёй «Мальчик у Христа на ёлке». В этой повести он напоминает о той заброшенности, в которой находятся дети улицы, лишённые не только воспитания как такового, но и сколько-нибудь сносного существования. Рассказав историю одного такого ребёнка, который в суровую Рождественскую ночь очутился на улице и замёрз на чужом дворе, Достоевский заканчивает свою повесть фантастической картиной, представляющей, как этот мальчик очутился на ёлке у Христа. Там оказалось много таких деток, испытавших равную с ним судьбу; ко всем Христос простирал свои руки и благословлял их и их грешных матерей.

Сочинив эту фантастическую повесть, в которой при всей её фантастичности так много правдивого, он, видимо, желал указать на одно из тех вопиющих явлений, которые на каждом шагу встречаются в нашей жизни. Читая рассказ, нельзя не чувствовать, что в него вложена мысль о полной заброшенности этих бедных детей, до которых никому нет дела. Толпы людей проходят мимо, не обращая на них никакого внимания, а между тем эта заброшенность, это пренебрежение к маленьким существам приводит к великому злу, злу общественному, которое впоследствии отзываться на общем благосостоянии населения. Дело в том, что уличные дети, приучаясь ко лжи, всем своим существом всасывают её в себя, а затем под влиянием свободы и нажитой страсти к бродяжничеству становятся преступниками. При всей сдержанности Достоевского, при всём его нежелании прямо высказать мысль, таящуюся в повести, нельзя не понять, что, по его мнению, подобное безучастное отношение к беспомощным детям – плохая рекомендация общества.

Достоевский характеризует общество того периода с позиции существующих в нём положений о воспитании и тех приёмов и средств, которые во имя этих положений практикуются в образованной среде.

Какова же общественная среда в этом отношении?

По Достоевскому, те общие теоретические положения о средствах воспитания, которых придерживается общество, или слишком неопределённы, в силу своего общего характера, или высказываются без всякого внутреннего убеждения, на случай, без мотивации. «Мне случилось», – пишет он в «Дневнике» за 1873 год, – «выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров незнакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорит, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал класси-

ческое образование, и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством...» Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых ещё до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка» и проч. в этом роде. В нашем вагоне он произвёл чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убеждён, что он ушёл, чрезвычайно уважая себя». «В другой раз, – продолжает Достоевский через несколько строк, – тоже в вагоне и тоже недавно мне случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждою слушателя, начал с монастырей... Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведа, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации... «Я научу сына моего быть честным человеком – и вот и всё» – порешил он в заключение, в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своём кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений». Характерны в этих случаях не столько сами взгляды, сколько то, как они возникают и как исповедуются. Поспешности их образования соответствует та лёгкость, с которой они облачаются в словесную форму и воспринимаются всеми, без проверки, без возражений, и с которой они так же легко сменяются другими.

Также и само содержание тех идей, из которых слагались гражданские воззрения «наших интеллигентных слов» в 1870-х годах, не может, по Достоевскому, не отозваться гибельно на направлении, какое должны получить под их влиянием дети. «Вот где начало зла, – говорит Достоевский, – в предании, в преемстве идей, в вековом, национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца под непременным условием неуважения к самому себе, как к русскому человеку!» Ибо там, «где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в последнее время, – тут ли, из этого ли родника наши юные люди похерпнут правду и безошибочность направления первых шагов жизни?» «Прежде всего поставьте вопрос, – говорит затем Достоевский, – если сами отцы этих юношей – не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями; если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большей частью) отрицание; если слово «отечество» произносилось между ними не иначе, как с насмешливой складкой; если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях «общечеловеческих»; если ещё в детстве их прогоняли няnek за то, что те над колыбельками их читали «Богородицу»; – то скажите, что можно требовать от этих детей, и гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделяться одним лишь отрицанием факта?»

Далее своё внимание Достоевский останавливает на случае, опубликованном в газетах: три гимназиста 3-го класса К-ой гимназии «привлечены к ответственности по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с их предполагавшимся бегством в Америку». Этот случай, согласно Достоевскому, стоит в связи с тем содержанием, которым в своей умственной жизни живёт взрослое поколение общества. «Винить ли таких маленьких детей, этих трёх гимназистов, – замечает Достоевский, – если и их слабыми головёнками одолели великие идеи о «свободном труде в свободном государстве» и о коммуне и об общевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентеизм и измена отечеству – добродетелью?»

Подобные идеи, носящиеся в обществе, чуждые нашей истории и истинным потребностям нашей жизни, составляют ту атмосферу, в которой вырастает дитя, всасывая её в себя и питаясь ею. Но действие среды на юную душу не ограничивается внушением такого рода идей. Сюда присоединяются и некоторые воздействия, какие экспериментировало в отношении подрастающего поколения современное ему общество.

В качестве примера Достоевский указывает на наёмных воспитателей, вроде гувернёров и бонн, которых приглашали главным образом ради изучения французского языка. При этом Достоевский поднимает вопрос, насколько может быть полезно или вредно усвоение в первом детстве чужого языка вместо своего, родного. Он рассматривает этот вопрос прежде всего с психологической точки зрения, к которой присоединяется гражданско-национальная.

Сущность первой постановки вопроса в том, что язык как форма мысли не только отражает на себе глубину последней, но и сам, в свою очередь, способствует большей глубине её содержания. Отсюда «понятно, что чем гибче, чем богаче, чем многообразнее мы усвоим себе тот язык, на котором мы предпочли мыслить, тем легче, тем многообразнее и тем богаче выразим на нём нашу мысль». «На глубину мысли чужого, заимствованного языка не достанет: для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся», и чтоб усвоить себе этот родной язык натуральнее, без особой надсидки и не по одной только науке, надо непременно ещё с детства перенимать его от русских нянек. «Не владея материалом, чтоб организовать на нём всю глубину своей мысли и своих душевных запросов, владея всю жизнь языком мёртвым, болезненным, краденым, с формами робкими, заученными...», воспитанный на чужом языке человек «будет вечно томиться непрерывным усилием и надрывом, умственным и нравственным, при выражении себя и души своей... Он сам заметит, что мысль его коротка, легковесна, цинична — цинична именно по своей короткости, вследствие ничтожных, мелочных форм, в которые всю жизнь облечена была».

Год спустя в летнем номере «Дневника» за 1877 год Достоевский вновь возвращается к той же теме, дополняя уже сказанное и предполагая ряд возражений, которые сделают ему прежде всего родители и, в частности «маменьки», старающиеся путём французского воспитания обеспечить сыну карьеру. «Поверите ли вы или нет, — обращается он к предполагаемому оппоненту, — когда я вам прямо и в высшей степени определённо скажу, что без знания натурального своего языка, без обладания им, нельзя даже выровнять себе и характера, особенно, если херувимчик (сын) хорошо и богато одарён от природы. У него начнут же в своё время рождаться мысли, идеи, чувства, его будут давить, так сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себе выражения, а без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения, т.е. без языка, без развития его, без утончённостей его, без обладания оттенками его — сын ваш будет вечно недоволен собою; обрывки мыслей перестанут его удовлетворять, накопляющийся в уме и в сердце материал потребует основательного уже выражения... Молодой человек станет озабочен, рассеян, беспредметно задумчив, потом брюзглив, несносен, потом расстроить своё здоровье, даже желудок, может быть, верите ли тому...»

Помимо чисто психологических оснований, есть ещё так называемая гражданско-национальная точка зрения на настоящий предмет. Сущность её может быть сведена к следующему. Человек, чуждающийся первого средства единения с родным народом, каковым является язык, естественно уже не принадлежит по духу своему народу, «перестаёт быть русским; в нём происходит «претворение чисторусского, сырого и превосходного, может быть, материала в жалкую международную дрянно, обезличенную, без характера, без народности и без отечества», ибо искусственная прививка чуженародных начал никогда не заменит ему потерю духа родной национальности. Через это самая идея национальности, а вместе с тем и национальная история становится навсегда для него непонятной. «Не имея своего языка, он, есте-

ственно, схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается ещё смолоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения». Он вырастает, становится дипломатом согласно желанию родителей, «но для него история наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает, чем живут нации и народы, какие законы в организме их и есть ли общий международный закон».

Независимо от общих суждений, касающихся вопроса о постановке воспитательно-го дела в современной Достоевскому среде, есть у него картинки, наглядно рисующие некоторые типичные черты самих воспитателей. Так, в статье «Маленькие картинки» им выводится личность гувернантки, сопровождающей в дороге семейство средней руки. Достоевский отмечает общие черты этого рода личностей, выставляя их как заурядные и неизбежно встречающееся во всех подобных случаях, повторение. «Гувернантки в обществе средней руки большей частью всегда одного пошиба, – говорит он, – т.е. все молоденькие, все недавно из учебного заведения, все не совсем хороши собою, но и никогда не бывают вполне дурны; все в тёмных платьицах, все со стянутыми талиями, все стараются выказать ножку, все с гордою скромностью, но и с самым непринуждённым видом, свидетельствующим о высокой невинности, все до фанатизма преданы своим обязанностям, у каждой непременно с собою английская или французская книжка благовоспитанного содержания, чаще всего какое нибудь путешествие». «Каждая из этих девиц лишь повторяет собою всех других, начиная с костюма и кончая стереотипными фразами на неизменном «гувернантски-французском» языке, с неизменными особенностями произношения. Такое полное отсутствие своего, оригинального, само собою свидетельствует о посредственности натуры: в подобный общий тип не может воплотиться личность, богатая своим содержанием. А эта посредственность, в свою очередь, представляет лучшее доказательство ненадёжности подобных личностей в отношении их воспитательной роли, тем более, что самая видимая невинность их есть только кажущаяся: при наружной скромности и внешней преданности своим обязанностям, в этих барышнях обыкновенно таятся секретные мечты о весёлой жизни и интересных встречах, разжигающие в них внутреннее недовольство окружающим».

Такова атмосфера, которой, по изображению Достоевского, дышит юный, готовящийся к жизни мир.

В своих романах Достоевский выводит детей более или менее богато одарённых от природы, но и те, при всей своей даровитости, слишком многим обязаны окружающей жизни. Их душевный быт слагается в зависимости от того отношения, какое существует между их природными задатками, их с одной стороны, и силой внешнего давления, с другой. А что же можно сказать об их мыслительной деятельности, которая главным образом питается содержанием извне? Очевидно, что весь круг идей ребёнка, особенно если он существо заурядное, определяется характером среды, её идеями и направлением. Его душевный запас будет ограничен тем, что даст ему эта среда. Как рано и до какой степени легко вбирает в себя детская заурядная среда всё, что видит около себя, подтверждается одним, сделанным Достоевским, наблюдением. Однажды ему пришлось побывать на балу, где были собраны дети разных возрастов. К самой затее устройства детского бала Достоевским относился без предубеждения, к детям – с любовью и верой в их душевную чистоту. Вот что он здесь наблюдал: «Тут были даже шестилетние дети, – говорит Достоевский, – но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда наряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества – непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы». Особенно восприимчивыми в отношении свойств воспитывающей среды Достоевскому представляются девочки: «Девочки, – замечает он, –

особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной будущую «Вуйку», которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на всё желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да нон. Зато есть и такие, которые, о сю пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают».

Остаётся одна область в общем строе жизни, от которой с полным правом можно ожидать уже не случайного, а сознательного воздействия на детство. Эта область – школа. Она так тесно примыкает к детскому миру, что бесспорно должна входить в круг наблюдений, связанных с вопросом о детстве. В немногих местах романов, где Достоевский касается школы, он останавливается главным образом на тех явлениях школьной жизни, которыми характеризуется положение ребёнка нежной организации в школьной обстановке. В большинстве случаев он показывает тот казённый, чуждый тёплых отношений к ребёнку строй школьной жизни, который как будто составляет её неперемennую принадлежность. Соответствующие примеры мы находим в «Бедных людях» (воспоминания Вареньки Добросёловой о времени её обучения в пансионе), в «Подрастке» (рассказ Аркадия Долгорукого о пребывании у Тушара) и, наконец, в «Братьях Карамазовых». Все вышеперечисленные личности, чувствуя недостаток тепла в окружающей их обстановке, не могут сжиться с нею. В период своего пребывания в школе они остаются одинокими, несмотря на то что множество других лиц, находящихся в том же положении, никогда не знало этого чувства. Как видно из примеров, здесь берёт верх «средина», посредственность, которая давит всё сколько-нибудь выдающееся, как бы не прощая того, что есть натуры, которые по свойствам своего темперамента не могут ассимилироваться с нею.

Помимо этого, в романах Достоевского нашли себе изображение некоторые школьные нравы, с незапамятных времён державшиеся в школе как бы силой какой-то традиции. Но везде Достоевский ограничивается лишь указанием на то или иное явление. К числу таких данных о школе относятся, например, некоторые места в романе «Братья Карамазовы», представляющие, с одной стороны, взаимные отношения между детьми, с другой – отношение последних к руководящим их воспитанием лицам.

Не многим больше по части характеристики школы даёт и «Дневник писателя». Всё, что сказано в нём по этому вопросу, может быть сведено лишь к общим суждениям о нравственно-воспитательном значении школы. Наравне с семьёй, Достоевский осуждает её за безучастное отношение к высшим задачам жизни, которых школа, как и семья, одинаково чуждается, «за множеством иных, более практических и современно интересных задач и целей». Подобное безразличие, по Достоевскому, характерно практически для всех руководителей детским воспитанием в период школьной жизни. «Я не помню в моём детстве ни одного педагога, – замечает Достоевский, – и не думаю, чтобы и теперь их было много: все лишь чиновники, получающие жалованье».

В отношении гимназий Достоевский высказывается с более определёнными замечаниями, хотя и они представляют собой лишь случайно высказанные суждения. Так, в «Дневнике» за 1873 год он писал: «в учебной реформе нынешнего царствования – чуть не вся наша будущность, и мы знаем это»; а в 1876 году он указывает на те пробелы, которые обнаружили в постановке учебного дела после совершенной в нём реформы. Достоевский не отрицает основательности тех начал, которые легли в основу гимназической системы. Он разделяет мнение, что математика и древние языки справедливо должны быть признаны основанием, на которое должно опираться гимназическое обучение. По его словам, «это факт и факт бесспорный, выжитый на опыте всю Европою в продолжение веков, а нами только перенятый». Но в то же время он находит, что наряду с усиленным преподаванием древних языков и математики «почти совсем подавлено у нас преподавание языка русского». Вследствие этого «вся нравственно развивающая сила этих двух древних языков, этих двух наиболее законченных форм человеческой мысли и уже поднявших, веками, весь бывший варварский запад до высочайшей степени развития и цивилизации, – вся эта сила, естественно, минует

нашу новую школу из-за упадка в ней русского языка». Сам собой возникает вопрос: «как, каким средством и через какой материал наши дети усвоят себе формы этих двух древних языков, если русский язык в упадке?» Чтобы способствовать поднятию уровня знания родного языка в гимназиях, Достоевский указывает на некоторые приёмы, ведущие к надлежащему усвоению родной речи. Так, он настаивает на необходимости заучивания наизусть памятников родного слова, начиная с наших древних времён: отрывков «из летописей, из былин и даже с церковно-славянского языка, – и именно наизусть, невзирая даже на ретроградство заучивания наизусть».

Некоторое число заметок по вопросу о наших гимназиях встречаем мы в его «Записной книжке». Судя по смыслу неоконченных, едва наброшенных фраз, можно заключить, что Достоевский считал применение у нас классической системы обучения беспочвенным и не подготовленным предварительным ходом школьного дела. По его мнению, следовало совершать это исподоволь, «вводя постепенно, не насаждая образования, а постепенно приготавливая почву. Талантливейшие вышли бы классиками, и вот мало-помалу получился бы контингент молодёжи с правильным образованием. Они бы и послужили началом будущему. Тем временем через известные периоды, каждые пять лет, например, или каждые четыре года, можно бы и умножить постепенно часы для классических языков... Долго ждать, но было бы вернее. А то всё разом... У нас всё вдруг. Выдумали чехов, холодных, безучастных, враждебных к юношеству, не знающих русского языка и свысока смотрящих на русский язык. Их ненавидели, презирали и смеялись над ними. Иногда даже патриотическое чувство в мальчике было оскорблено, а у нас ужас как немного оставалось его...» В другом месте той же «Записной книжки» есть следующее замечание: Произвели классическую реформу отвлечённо. Главное, забыли, что мы не Европа. За насаждение великой мысли спасибо Каткову и покойному Леонтьеву, ну а за применение мысли нельзя похвалить. Ввели дубиной... – «Чтоб не было идей». Наберутся своих, тогда хуже. – История у нас дала бы духовные идеи. Духовные идеи у немецкого мальчика другие: его строй, его быт, его национальность. А у нас в семьях лишь растление. История бы спасла от растления и направила бы ум юноши хотя бы в мир исторический из отвлечённого бреда и бурды, составляющих духовный мир нашего общества. Одним словом, поступили не национально».

Приведёнными выдержками исчерпывается всё, что сказано Достоевским по вопросу о школе, как области, имеющей непосредственное отношение к детскому миру. Здесь, как и в большей части приведённых суждений Достоевского, на вид выступает отрицательный характер его отношений к действительности. Но нельзя не заметить, что за этим отрицательным отношением к жизни стоят и положительные идеалы писателя, к которым он применяет и во имя которых осуждает не соответствующую ему действительность. На этих идеалах зиждутся и все высказанные им суждения. Уяснить себе эти идеалы – значит схватить самое зерно его воззрений на детство и тем самым установить в своём понимании значение тех картин из области детской жизни, которые мы находим на страницах его романов.

Посмотрим, какого же рода были его собственные мысли о детской среде и что бы он желал поставить на место изображаемых и обозреваемых им явлений, относящихся к области детской жизни.

Детская среда, представителей которой Достоевский вывел в своих романах и которой уделил немало страниц в своём «Дневнике», показана у него с некоторой долей идеализации. В сущности, между его детскими типами нет ни одного безусловно дурного; их основа души в своей глубине чиста и непорочна. Даже Лиза Хохлакова, в которой по сравнению с другими детьми Достоевского больше всего наблюдается повреждение нравственных основ, далеко не лишена симпатических свойств, это лишь измученное болезнью и плохо воспитанное существо, но далеко не злое и не безнравственное по природе. То, что во всех его произведениях детская природа постоянно выставляется с идеальной стороны, а вместе с тем и требования, которые предъявляются им для от-

ношения к детскому миру, вразрез тому, что представлено им совершающимся в действительности, показывает, как высоко ценил Достоевский душевный мир детей.

Посмотрим, каковы личные убеждения писателя об отношении к детскому миру со стороны взрослых.

С большой определённостью высказывается он по этому вопросу в заметках по делу Кр-га, о котором упоминалось выше. «Вы скажете, что мы должны исправлять детей» – обращается Достоевский к защитнику обвиняемого. «Слушайте: мы не должны превозноситься над детьми, мы и их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают нашу душу одним только своим появлением между нами. А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением, к их лику ангельскому (хотя бы и имели их научить чему), к их невинности, даже и при порочной какой-нибудь в них привычке, к их безответственности и трогательной их беззащитности». «Знаете ли, – пишет он далее, – что такое оскорбить ребёнка? Сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною, а такие удары (речь идёт об ударах в буквальном смысле, наносимых с целью причинения физической боли) вызывают в них горестное удивление и слёзы, которые видит и сочтёт Бог». С этими суждениями связан и взгляд Достоевского на личную ответственность ребёнка за совершаемые им проступки, согласно которому дурные поступки далеко не всегда свидетельствуют о нравственной испорченности ребёнка. «В таких летах, чем же она сама (та семилетняя девочка, из-за которой возбуждено было дело о жестоком обращении) могла быть виновною в своих дурных привычках?» – спрашивает Достоевский. «У ней нет ещё и не может быть столько ума, чтоб заметить в себе худое». «Ведь их (детей) рассудок никогда не в силах понять всей вины их».

Вообще романы Достоевского заключают очень много субъективного элемента. За теми образами, которые он создаёт в своих произведениях, нередко стоит он сам. Порой он вовсе выходит из роли художника, облекающего свои идеи в пластические образы, и выражает их то лично от себя, то устами самих действующих лиц. Такого рода субъективизмом проникнут, например, его «Идиот», в котором не трудно выделить суждения, представляющая лучшие идеальные мечты самого Достоевского. Так, «идиот»-князь рассказывает в высшей степени поучительную историю своих отношений к детям швейцарской деревушки, в которой он долгое время жил. Своим обращением с ними он явно пошёл наперекор установившимся на этот счёт понятиям. Он был откровенен, объяснял детям всё просто, не стараясь лицемерно прикрывать такие стороны вещей, в которых взрослые хотят видеть одну пошлость. Его осуждали за это, считали вредным, но правда оказалась на его стороне. Вот какими идеями об отношении к детям наделяет его Достоевский: «Ребёнку можно всё говорить, – всё; меня всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они всё понимают. Большие не знают, что ребёнок даже в самом трудном деле может дать чрезвычайно важный совет. О, Боже! когда на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, вам ведь стыдно её обмануть!.. Через детей душа лечится». Вся история отношений князя Мышкина с детьми представляет много интересного и поучительного. Дети не сразу полюбили его, поначалу смеялись над ним, даже камни в него кидали – словом, извращённые понятия их отцов и матерей привились и им. Перемена в их чувствах произошла с того момента, когда он напрямую обратился к ним с указанием на несправедливость их отношений к одной оскорблённой и всеми брошенной девушке, ставшей посмешищем всего населения деревни от мала до велика. Эта девушка была брошена на произвол судьбы её соблазнителем. Взрослые поливали её за это грязью; дети вторили им и не давали несчастной прохода. Князь попробовал усовес-

тить их. Сначала дети просто слушали его увещания, потом мало-помалу изменили своё отношение к несчастной, а вместе с тем изменили и своё отношение к самому князю. В конце концов между ним и детьми установилась самая тесная дружба. Она основывалась исключительно на правдивом и безыскусственном отношении к детям со стороны князя Мышкина, которое, в свою очередь, вызвало подобное же отношение к нему со стороны детей. Благодаря детям больной князь излечился и от своей меланхолии: первоначально, по его словам, он «стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними». «Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие и вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слёзы, ...и я забывал тогда всю тоску мою». За всё время дружбы с ними, он «понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди». Не нам решать, насколько само по себе верно в психологическом отношении отмеченное здесь явление, представляющее благотворное влияние детской среды на душевно страдающего человека. Для нас это замечание, независимо от его психологического значения, важно как выражение личных взглядов Достоевского к вопросу о том, в чём должно заключаться истинное отношение к детям.

Другие персонажи романов Достоевского, более или менее идеализируемые им, проявляют в своих отношениях к детям ту же черту, которая составляет отличительную особенность князя Мышкина. Так, Алёша Карамазов, при встрече со школьниками на улице, «безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с делового замечания». При этом Достоевский от себя добавляет, «что взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребёнка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьёзно и деловито и так, чтобы было совсем на равной ноге».

Субъективизм, составляющий отличительную особенность Достоевского как художника, становится особенно заметен при сопоставлении его романов с «Дневником», в котором мы находим массу замечаний, буквально сходных с теми, какие можно найти в его художественных произведениях. Достаточно указать на одно из ранее приведённых замечаний по делу Кр-га: «Мы не должны превозноситься над детьми... Мы их должны уважать и подходить к ним с уважением, к их лику ангельскому». В этих словах так и слышится отзвук тех самых слов, в которых передавал свой взгляд на детей князь Мышкин. Таким же тоном проникнуты и другие места «Дневника», в которых говорится о детях.

Так, заканчивая свои суждения о судебном процессе по ранее упомянутому делу родителей Дж-их, Достоевский в своём воображении вкладывает в уста председателя суда «фантастическую речь», обращённую к подсудимым, только что оправданным присяжными. В этой «речи» он совершенно определённо высказывается о тех чувствах, которые должны быть положены в основу отношений к детям. «Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших, — говорит он. — Любовь столь всемогуща, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить, и что станет тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство, и да закончатся, наконец, страдания и недоумения цивилизации нашей».

Из этих слов, равно как из всего, что было высказано Достоевским о положении воспитательного дела и детского вопроса вообще в современном ему обществе, можно с достаточной определётельностью заключить, как смотрел он на цели и средства воспитания. По смыслу высказанных им суждений, воспитание прежде всего должно преследовать гуманитарные цели. Ввиду этого как обстановка, окружающая ребёнка, так и

практикуемые воспитательные приёмы должны прежде всего и больше всего способствовать утверждению в нём зачатков положительного и прекрасного, которыми и будет питаться детская душа в течение всей предстоящей жизни. Но чтобы достигнуть этой цели, самим отцам нужна прежде всего идея жизни, которая бы руководила ими, нужна, по крайней мере, вера такую идею, ибо эта вера уже сама по себе составляет великую воспитательную силу. «Есть такие случаи, – говорит Достоевский, – что даже самый падший из отцов, но ещё сохранивший в душе своей хотя бы только отдалённый прежний образ великой мысли и великой веры в неё, мог и успевал пересаждать в восприимчивые и жаждущие души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства и был прощён потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что остальное. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь». Не ставя перед собой задачи давать указания, к каким путям и приёмам должно прибегать воспитание, Достоевский, тем не менее, иногда, совершенно определённо высказывает свои воззрения на этот предмет. Так, старец Зосима, личность которого, конечно, создалась на идеалах самого Достоевского, видит великую воспитательную силу в молитве. «Юноша, не забывая молитвы, – говорит он в своём поучении. – Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнёт новое чувство, а в нём и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймёшь, что молитва есть воспитание». Тот же Зосима говорить о детях: «Ребёнку надо солнце, детские игры и всюду светлый пример и хоть каплю любви к нему... Да не будет истязания детей; восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее».

Какую силу имеет любовь и какое влияние оказывает она на ребёнка, можно было видеть на приведённых примерах маленьких героев Достоевского. Нельзя не признать, как обаятельно действует на ребёнка уже одно ласковое обращение. Мы видели, что Нелли преобразилась под влиянием тёплых отношений к ней Ивана Петровича и Ихменевых, что Нета и Илюша жили исключительно теми чувствами, которые питали они к полюбившим их людям: первая – к Кате, второй – к отцу. Суждения Достоевского дополняют те выводы, которые можно сделать из этих живых примеров. По его мнению, не приложив любви, «нельзя браться за воспитание». «Эти создания, – говорит он про детей, – тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час, в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня! Семья ведь тоже создается, а не даётся готовою, и никаких прав, и никаких обязанностей не даётся тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают... Созидается же семья неустанным трудом любви». Но раз в отношении с детьми вносится начало любви, уже не может быть места жестокостям и суровым наказаниям. По словам Достоевского, «розга в семействе есть продукт лени родительской, неизбежный результат лени. Всё, что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, всё, чего можно бы было достигнуть расстройком, разьяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером, – всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой: «не разьясно, а прикажу, не внушу, а заставлю». Каков же результат выходит? Ребёнок хитрый, скрытный, непременно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит его. Ребёнка слабого, трусливого и сердцем нежного – вы забудёте. Наконец, ребёнка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым – вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно детскому сердцу отрываться от тех, кого оно любит; но если оно уже оторвётся, то в нём зарождается страшный, неестественно ранний цинизм, ожесточение, извращается чувство справедливости». Всё это, конечно, не означает, что наказание, по Достоевскому, не должно входить в число воспитательных мер. В от-

дельных случаях Достоевский даже сам указывает на необходимость прибегнуть к наказанию. Так, по его словам, проступок детей Дж-их, которые будто бы били прутьями лежавшую на столе мёртвую сестру, сам собой вызывал потребность строгого наказания... Но никогда, по смыслу его слов, кара, назначаемая ребёнку, не должна сопровождаться потерей веры в него, веры в возможность его исправления.

С этими суждениями Достоевского нельзя не сопоставить несколько его частных замечаний, весьма любопытных в том отношении, что от общих положений они приводят к воззрениям на практику воспитательного дела.

В январском номере «Дневника» за 1870 год Достоевский описывает своё посещение колонии малолетних преступников. Тип детей-преступников, о которых он упоминает на страницах этого номера, представляет много особенных, одному ему свойственных черт, и потому приходится сожалеть, что в произведениях Достоевского не встречается художественного воспроизведения этого типа. Но, не давая ни одного художественного примера, Достоевский много говорит о детях-преступниках в своём «Дневнике». Отмечая некоторые особенности душевного быта этих детей на основании тех наблюдений, которые были сообщены ему их руководителями, он останавливается на применяемых в колонии исправительных мерах. Правда, он ограничивается здесь лишь сообщением того, что пришлось ему узнать по этому поводу от воспитателей колонии, но в тоне, которым он сообщает слышанное, в отдельных мимоходом брошенных словах слышится, что это в то же время и его собственное мнение. Так, Достоевский считает, что наиболее действенным средством перевоспитания опороченной души должен быть признан труд. Воспитательная сила труда, по Достоевскому, состоит не только в том, что он наполняет собою существование детей и через это препятствует дальнейшему развитию в них дурных наклонностей, но и в том, что он вызывает в трудящихся чувство соревнования и тем самым выводит их душу из мрачно-равнодушного настроения. Другим таким средством является товарищеский самосуд, по решению которого провинившийся в колонии мальчик может быть удалён из общества товарищей и подвергнут одиночному заключению. Разделяя мнение о важности самосуда, Достоевский, однако, отзываясь о нём как о мере чересчур обоюдоострой. Опасность, которую представляет эта мера, заключается прежде всего в том, что личностей более талантливых и умных из числа этих детей «может укубить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти всегда середина». Вторую опасность представляет то обстоятельство, что «судящие мальчики могут не понимать и сами-то хорошо своего дела». Наконец, сам по себе самосуд может произвести рознь между детьми, открывая возможность появления в душе осуждённых неприязненного чувства на долгое время. О манере обращения, которой держались в отношении этих детей их воспитатели, Достоевский говорит следующее. «Гуманное и до тонкости предупредительное обращение» их с мальчиками, выражающееся в обращении на *вы*, есть такая же искусственная мера, как и самосуд. «*В вы* заключается как бы нечто формальное и казённое: *ты* было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяются».

В положительном смысле Достоевский высказывается за чтение, видя в нём не только развивающее, но и воспитывающее средство. Тем не менее он не берётся решить, какой подбор читаемого материала был бы наиболее подходящим в данном случае. «Может быть, — замечает он, — эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым наивно-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свисока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей». Думает он также, что «ряд чистых, святых, прекрасных картин» из священной истории, но «без особой казённой морали», «сильно подействовал бы на их жаждающие прекрасных впечатлений души».

Этими заметками исчерпывается всё, что содержат собственные суждения Достоевского по вопросу о выборе воспитательных средств. Как видно, эти заме-

чания касаются особого уголка жизни детей, но едва ли сам Достоевский придавал им значение только в условиях применения исключительно к этой области детско-го мира. Если принять во внимание, с одной стороны, что основа души детей-преступников при всей неправомерности их развития, при всём их как моральном, так и интеллектуальном несовершенстве, всё-таки остаётся неповреждённой в первых своих началах, с другой, — что указанные меры имеют слишком общий характер, то нельзя не признать за приведёнными суждениями Достоевского общего значения, поднимающего их до степени общевоспитательных положений.

На этом заканчивается обозрение произведений Достоевского с точки зрения их отношения к вопросам о детях и детской жизни. Следует признать, что всё увлечённое из его сочинений, — начиная с художественного воспроизведения подмеченных в жизни явлений и типов и кончая последними замечаниями, содержащими личное мнение Достоевского, — представляет ценный вклад в педагогическую психологию. Несмотря на то, что группа выведенных Достоевским представителей детского мира далеко не исчерпывает всех наблюдаемых в действительности разновидностей детского характера, при всём своеобразии большинства представителей этой группы, при всей общности высказанных писателем суждений, — через произведения Достоевского можно наблюдать детский характер в самых различных точках его соприкосновения с внешним миром.

Из всех этих полных психологической правды данных можно сделать следующий вывод: нужно внимательно относиться к природе ребёнка, стараться понять её, а главное — не предпочитать мёртвой формы условных педагогических положений живому делу наблюдения над тем брожением, которым сопровождается внутренний рост ребёнка. С этой стороны, всё содержание произведений Достоевского — есть напоминание о том завете, исполнение которого вменяется нам как самое первое и необходимое условие при всех случаях нашего общения с детским миром: «блюдите, да не презрите единого от малых сих».

По П. Пользинскому

Всякий раз, когда имеешь дело с ребёнком, душа которого от природы чиста и прекрасна, но исковеркана и изломана дурным воспитанием, поневоле в голову приходят бессмертные слова Руссо: «Всё прекрасно, что выходит из рук Творца; в руках же человека всё портится, гибнет, получает ложное направление».

Эта максима в применении к воспитанию часто находит себе подтверждение. К несчастью, сплошь и рядом приходится наталкиваться на самые печальные факты, имеющие своим источником и причиною дурную педагогическую систему. Хорошо воспитать ребёнка — трудная задача, и нередко педагоги оказывают дитяти медвежью услугу и достигают результатов противоположных тем, которые имелись в виду: вместо того, чтобы способствовать гармоническому разлитию духовных сил и способностей дитяти, они губят те хорошие начала, которые заботливая мать-природа внедрила в его младенческую душу.

Как ни грустно, но с этим фактом приходится считаться и отрицать его нельзя без того, чтобы не погрешить против истины. Исходя из этого соображения, наука делит недостатки дитяти на естественные и искусственные, первые — это, так сказать, органические недостатки дитяти, составляющие его неотъемлемую собственность, часть его я, его индивидуальности, вошедшие в плоть и кровь ребёнка. Тут воспитателю приходится вести тяжёлую, упорную борьбу и нельзя обвинять его, если победа останется не на его стороне: нелегко стереть то, что природа выгравировала в душе ребёнка своим могучим всесильным резцом.

Зато искусственные недостатки — это другое дело: тут ответственность всецело падает на тех, кому поручено воспитание дитяти, надзор за ним, ибо под искусственными подразумеваются те недостатки, которые прививаются ребёнку извне,

внедряются в него окружающими, средой, в которой он живёт, и притом сознательно (дурное воспитание) или же бессознательно, помимо воли.

Стоит лишь повнимательнее рассмотреть те условия, при которых растут и развиваются дети, и сейчас же становится заметен целый ряд такого рода влияний на духовную жизнь дитяти, которые отнюдь не могут способствовать его нормальному развитию и даже вызывают в душе ребёнка такого рода явления и состояния, которые, пагубно отражаясь на его физическом организме, в свою очередь, путём обратного действия вредно отзываются и на его психическом здоровье.

Княжна Катя («Неточка Незванова»)

Одной из таких жертв ложной педагогической системы является княжна Катя, образ которой столь мастерски нарисован Достоевским в рассказе «Неточка Незванова». Писатель-художник оказал педагогике немалую услугу, создав этот чудный психологический этюд. «Всё в ней было прекрасно; ни один из её пороков не родился вместе с нею; все были приняты и все находились в состоянии борьбы, всюду было видно прекрасное начало, принявшее на материю ложную форму». Так описывает Достоевский свою маленькую героиню, а вместе с тем и всех тех детей, которые наделены от природы такими же прекрасными задатками, как Катя, и точно так же, как и она, имели несчастье попасть в плохие руки, стать жертвой слепой и неразумной системы воспитания.

Вот, что мы читаем у автора: «Это была избалованная, самовластная девочка, которую все баловали и лелеяли в доме, как сокровище. Мать безумно любила её, но была с нею ужасно строга, и у неё переняла Катя упрямство, гордость и твёрдость характера, но переносила на себе все прихоти матери, доходившие до нравственной тирании. Княгиня как-то странно понимала, что такое воспитание, и воспитание Кати было странным контрастом беспутного баловства и неумолимой строгости. Что вчера позволялось, то, вдруг, без всякой причины, запрещалось сегодня, и чувство справедливости оскорблялось в ребёнке...»

«Ребёнок уже умел определить свои отношения к матери и отцу: с последним она была, как есть, вся наружу, без утайки открыта, с матерью, совершенно напротив, замкнута, недоверчива и беспрекословно послушна. Но послушание её было не по искренности и убеждению, а по необходимости».

Каковы же были результаты этого воспитания, если только можно назвать та-ким термином эту смесь «беспутного баловства» и «неумолимой строгости», как выразился Достоевский? Увы, оно изломало, исковеркало светлую, прозрачную, как кристалл, душу девочки, нарушило чудную гармонию, царившую в её сердечке, на время подавило добрые инстинкты, присущие её натуре, дало перевес тёмным, дурным началам; оно чересчур рано научило её думать, чересчур глубоко и тонко чувствовать, лишило её детского безмятежного спокойствия, обогатив преждевременным горьким опытом, расшатало её нервную систему, привело в брожение всё её существо; выражаясь тривиальным языком, оно испортило Катю, породило в ней гордость, эгоизм, самолюбие и беспредельную жажду властвовать, повелевать, доходившую до того, что всякое противоречие не обижало, не сердило её, а только удивляло. Она не в состоянии была понять, как могло быть что-нибудь иначе, не так, как хотела она. Все и вся должны были признавать её авторитет, поклоняться ей, любить её. Неразлучно с властолюбием в ней развивалось крайнее, болезненное самолюбие, доходившее до смешного: она не выносила ни малейшей похвалы другому в её присутствии; «покраснеть, сгореть со стыда – было её первым движением почти при каждой неудаче, в досаде ли, от гордости ли, когда её уличали в шалости, одним словом, почти во всех случаях».

Для Кати всего дороже её маленькое «я»; она топает ногами и сердится на Нету за то, что та не выздоровливает, – ведь этой эгоистке скучно сидеть у больной! Она безжалостно отталкивает бедную робкую сиротку, заявляя ей в лицо, что не любит

её за то, что она неинтересная, «худая такая», не может играть с нею в волан. Движимая дурным чувством, она мучает Нету расспросами о её прошлом, словно издевается над её сиротством, бедностью, беспомощностью.

Все это – пороки Кати, плоды того воспитания, которое ей было дано. Такой её сделала неразумная мать, в своём обожании единственной дочери доходящая до полного исступления, а также окружающие – своей угодливостью и тем поклонением, которыми окружили с детства прелестного, дивно красивого ребёнка, превратив его в неограниченного властелина-деспота, а себя – в его послушных рабов.

Но это ещё не все.

Нервы Кати вконец расшатаны: она чувствует не по годам глубоко и тонко, она крайне, до болезненности, впечатлительна; малейшего волнения достаточно для того, чтобы вызвать у неё истерику, жар, нервный припадок; она вся отдаётся овладевшему ей порыву и, задумавшись над каким-нибудь вопросом, забывает весь мир; мысль лихорадочно работает в её мозгу, заставляя усиленно биться пульс, поглощая всё её внимание, превращаясь в какую-то идею фикс, преследуя её ночью тяжёлым кошмаром, не оставляя в покое, покуда она так или иначе не разрешит своих сомнений. Сквозь детскую беспечность в ней проглядывает недетская серьёзность и вдумчивость, которая заставляет её, отложив в сторону волан и все ребяческие забавы, часами неподвижно сидеть на диване, устремив глаза в одну точку и не меняя позы. И в этом случае главным двигателем и стимулом является всё то же болезненное самолюбие и гордость, привитые ей матерью. «Если она не понимала чего, то тотчас же начинала думать об этом сама, и терпеть не могла идти за объяснениями – она как-то стыдилась этого. Рассказывали, что она по целым дням иногда билась над каким-нибудь вопросом, который не могла решить, сердилась, что не могла одолеть его сама без чужой помощи, и только в последних случаях, уже совсем выбившись из сил, приходила к m-me Leotar с просьбой помочь ей разрешить вопрос, который ей не давался».

Такие ложные взгляды внушила ей псевдопедагогическая система её матери. Всё, что можно было сделать для того, чтобы перепугать понятия девочки, произвести сумбур в её голове и сердечке, было сделано этой системой, и завязалась упорная борьба между природными задатками, инстинктами, и искусственными, наносными влияниями, на время поработившими неопытную детскую душу.

Но, по-видимому, сама природа, взяла Катю под своё покровительство, не дала неразумной матери окончательно погубить своё дитище. «Все в ней сияло отрадной надеждой, всё предвещало прекрасное будущее... Это было прекрасное, доброе маленькое сердце, которое умело сыскать себе добрую дорогу уже одним инстинктом». Результаты всех её начинаний были прекрасны и истинны, но покупались непрерывными уклонениями и заблуждениями. Катя, без сомнения, обладала нервным темпераментом, и воспитывать такого ребёнка, как она, далеко не лёгкая задача; к несчастью, те люди, на долю которых выпала эта задача, были совершенно не способны её выполнить. Если почва в основе и была хороша, то плохой посев не мог не дать дурной жатвы. Если результаты её начинаний и были хороши, то по вине её воспитательей они покупались слишком дорогой ценой. Достаточно припомнить историю отношений Кати к бедной сироте-приёмшису Неточке. Доброе чувство в конце концов одержало победу в душе гордой девочки и побудило её смиренно просить Неточку позволения завязать ей башмак, зато сколько незаслуженных обид пришлось вынести бедняжке Неточке, сколько обидного равнодушия выпало на её долю; какую тяжёлую внутреннюю борьбу, едва не заставившую её слечь в постель, вынесла княжна, покуда демон гордости и властолюбия, столь преждевременно искушавший эту детскую душу, не сложил своего оружия и не признал себя побеждённым теми добрыми началами, которые покоились на дне её прекрасного сердечка. Старая княгиня, извещённая гувернанткой, страшно тревожилась, подмечая симптомы нервозности в своей дочери, и поспешно удалила её от Неточки,

усматривая причину болезненного состояния Кати в якобы вредном влиянии сиротки-приёмщицы. Какая непростительная ошибка, с одной стороны, и какая злая ирония – с другой. Нервность дочери пугает мать, ту мать, которая сама, сознательно или бессознательно, расшатала нервную систему своего ребёнка, а роль виноватой выпала на долю Неточки Незвановой. А между тем если кто и призван был оказать благотворное влияние на взбалмошную, взбудораженную девочку, так это именно она, маленькая, кроткая Неточка: под лучами той горячей любви, той бесконечной преданности, которую она питала к Кате, должна была растаять ледяная кора, покрывавшая доброе сердечко маленькой княжны, и рано или поздно она должна была исцелиться от своего главного порока – гордости.

Любовь – великая воспитательная сила! Не та любовь, которая является капризом изнервничавшейся светской дамы, а горячая, самоотверженная любовь, беспредельная и бескорыстная преданность, ничего не требующая и не желающая от любимого существа, ничего не ищущая, кроме его счастья и благополучия! К несчастью, мало кто это помнит: вместо нежной ласки в ход пускается неумолимая суровость, преследуя цель таким путём закалить детский характер, искоренить вредную экзальтацию, нервозность – и достигаются обратные результаты. Всегда нужно считаться с темпераментом ребёнка, его природными наклонностями и принимать во внимание ту среду, в которой он воспитывается, те черты и особенности характера, которые обусловлены влиянием этой среды, а потом уже выбирать те или иные меры.

Та нежность и любовь, которая зародилась в душе Кати в ответ на горячую привязанность к ней Неточки, служит наилучшей гарантией того хорошего влияния, которое могла иметь на неё Неточка. Из окружающих никто не сумел вникнуть в такое чувства. Правда, отца она горячо любила; но он слишком мало времени посвящал своему ребёнку, слишком мало знал её внутренний мир, иначе отрицательные черты характера Кати не показались бы ему такой новинкой и не столь поразили бы его, обнаружившись в её столкновениях с Неточкой. Мать... Такая мать, как княгиня, доброго влияния на нервную восприимчивую девочку иметь не могла. Катя и умственно переросла её и, будучи десятилетней девочкой, уже многое постигла. «Она поняла, наконец, свою мать и подчинилась ей, вполне осмыслив всю безграничность любви её, доходившей иногда до болезненного истощения, – и княжна великодушно ввела в свой расчёт последнее обстоятельство».

Добрая m-me Leotar, сентиментальная старушка, не могла заручиться влиянием на свою воспитанницу. Где же ей было справиться с этой властолюбивой, нервной, взбалмошной, полной противоречий и скачков натурой? Бедный Жан-Жак Руссо, которого так обожала почтенная старушка, по всей вероятности, страшно оскорбился бы, увидев такую представительницу своих идей. Как это ни странно, но маленькая Неточка, впервые изучающая французскую азбуку под руководством m-me Leotar, стояла ближе к гуманному писателю, чем его престарелая патриотка: она и есть выразительница того естественного, той природы, перед которой преклонялся французский философ.

Нельзя не пожелать побольше этой естественности в деле воспитания детей, когда сталкиваешься с таким типом, как маленькая княжна Катя, с её ложными понятиями и взглядами, с её гордостью и самолюбием, с её нервностью и утончённой чувствительностью, искусственно привитыми воспитанием.

Лиза Хохлакова («Братья Карамазовы»)

Нервная, капризная, взбалмошная, но тем не менее милая и симпатичная Лиза Хохлакова, четырнадцатилетняя невеста Алёши Карамазова.

«Бедная девочка страдала параличом ног и не могла ходить уже с полгода и её возили в длинном покойном кресле на колёсах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но весёлое. Что-то шаловливое светилось в её темных больших с длинными ресницами глазах».

Что же особенного в этой Лизе?

Болезненная восприимчивость и впечатлительность, отсутствие какой бы то ни было устойчивости, душевного равновесия и наряду с этим преждевременное развитие, склонность к анализу, критическое направление ума, серьёзность и вдумчивость совершенно не детские – вот отличительные черты нашей маленькой героини.

Про неё можно смело сказать, что она вся соткана из нервов; её нервность такого свойства, что выходит за границы нормального, естественного, представляет собой зачатки душевной болезни – настолько дики, причудливы, необузданны и своеобразны её выходы. Это какой-то хамелеон, который ежесекундно меняет свой образ, двух минут не оставаясь в одинаковом настроении: сейчас перед нами была милая, наивная девочка, которой доставляет удовольствие невинная шутка над Алёшей, через секунду мы видим любящую и чувствующую глубоко и серьёзно женщину.

Не будучи в силах скрывать своих чувств, она мило и трогательно изливает их в письме к избраннику своего сердца, первая признаётся ему в любви и молит не презирать её. «Я не могу больше жить, если не скажу вам того, что родилось в моем сердце, – пишет она Алёше. Но как я вам скажу то, что я так хочу вам сказать?... Милый Алёша, я вас люблю, люблю ещё с детства... люблю на всю жизнь. Я вас избрала сердцем моим, чтобы с вами соединиться и в старости вместе окончить нашу жизнь... Я всё смеюсь и шалю, я давеча вас рассердила, но уверяю вас... перед тем, как взяла перо, я помолвилась на образ Богородицы, да и теперь молюсь и чуть не плачу...»

А назавтра она опять смеётся, и подчас зло смеётся над тем же Алёшей, как бы мстя ему за свою любовь к нему.

«Скажите, милая мама, милостивому государю вошедшему Алексею Фёдоровичу, что он уже тем одним доказал, что не обладает остроумием, что решился прийти к нам сегодня после вчерашнего и несмотря на то, что над ним все смеются», – восклицает она и, плотно притворив дверь своей комнаты, не впускает к себе того Алёшу, о котором мечтала накануне, за которого проливала слёзы перед образом.

Из духа противоречия, столь свойственного нервным, взбалмошным натурам, она издевается над любимым человеком и наслаждается той болью, которую ему причиняет.

Но стоило лишь Алёше заикнуться, что у него поранен палец, – и вся напускная злоба Лизы мгновенно испаряется, уступая место самому искреннему раскаянию и состраданию.

В смертельном испуге она умоляет мать поскорее принести воды, корпии и, как сестра милосердия, ухаживает за Алёшей.

Узнав от него, что он её любит, она безмерно счастлива; но это не мешает ей через минуту издеваться и над своим избранником, и над своим чувством к нему: «Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой подрался на улице, и это мальчишка ему укусил, ну не маленький, не маленький ли он сам человек, и можно ли ему, мама, после этого жениться, потому что, вообразите себе, он хочет жениться, мама».

«Представьте себе, что он женат, ну не смех ли, не ужасно ли это?» – и Лиза всё смеялась своим нервным, мелким смешком.

Женщина скрылась и уступила место ребёнку. Лиза шалит, поднимает на смех свою бедную маму, у которой впопыхах явилось нелепое предположение: уж не бешеный ли был тот злой мальчишка, что укусил Алёше палец?

«Не боитесь ли вы воды?» – с напускной серьёзностью спрашивает она Алёшу.

Но не долго длилось это ребячески безмятежное настроение у Лизы. Новый порыв – и картина изменилась: в ней по самому ничтожному поводу проснулась ревность и, мгновенно овладев всем её маленьким, слабым существом, затуманила её светлые за минуту до этого очи.

«Как! Вы уходите? Так-то вы! Так-то вы? Мама, возьмите его и скорее уведите! Алексей Фёдорович, не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога. А я спать хочу, я всю ночь не спала».

Уже этими немногими штрихами Достоевский ярко обрисовал образ бедной, вконец изнервничавшейся, изломанной и исковерканной девочки. В следующих же строках романа характер её выступает целиком, со всеми деталями. Основные черты этой взбалмошной, порывистой натуры – непостоянство, неустойчивость.

«Закон её – мгновение!», – скажем мы словами поэта: все её чувства, желания, мысли – продукт минуты, мгновенного порыва, мимолётного увлечения. Под влиянием минуты она отдаст вам всё, что имеет.

«Ах, Алексей Фёдорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!» – восклицает она со свойственно ей порывистостью и страстностью и вся горит желанием послужить на пользу ближнего. Но чувство, руководившее ею в эту минуту, бесследно исчезло через несколько секунд; пламя погасло так же скоро, как зажглось.

«Пусть я богата, а все бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам», – говорит она в другой раз с каким-то непонятным озлоблением на весь мир, на всю вселенную, или, вернее, её устами говорит тот новый порыв, то новое мимолётное настроение, которое овладело в эту секунду её слабым наболевшим сердечком и могучей волной охватило всё её существо.

Деликатно и тонко чувствующая, она прильёт по щеке горничную, когда выдаётся такая минутка, и через час обнимет ту же служанку и поцелует у неё ноги, позабыв всю свою гордость и высокомерие.

Сегодня она кротка, как ягнёнок, завтра – стойка и зла, как фурия, хочет поджечь дом, сокрушить всё и вся; не хочет делать доброе, а хочет делать злое, «чтобы нигде ничего не осталось», жаждет беспорядка и анархии; сегодня она проливали слёзы перед образом, завтра ей снятся во сне чёртики: «Будто ночь, я в моей комнате со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам и ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить, а они – то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь – а они все назад. Ужасно весело, дух замирает», – исповедуется она перед Алёшей.

Бедная, бедная девочка! Алёша был прав, называя её мученицей. Как же иначе можно назвать четырнадцатилетнюю девочку-подростка, почти ребёнка, в которой нет ни капли детской ясности, свежести, непосредственности – лучшего достояния молодости, в которой всё вконец изломано, вымученно, искачено! Но где же кроется причина, источник её недуга?

Всё дело в её нервном темпераменте.

Но отчего же зависит этот нервный темперамент?

Вспомним, что бедная девочка страдала параличом ног, не могла ходить и обречена была на печальную участь проводить долгие часы, недели и месяцы в «покойном кресле на колёсах». Как ни покойно было это кресло, но в душе у бедного ребёнка, по всей вероятности, не царило то безмятежное спокойствие, которым пользуются другие дети её лет, поставленные в более счастливые, чем она, условия.

«Сидя в креслах вы уже и теперь должны были много передумать», – говорит ей Алёша. Это меткое замечание помогает приподнять завесу с тайны – найти причину крайней нервности Лизы Хохлаковой. Очагом этой нервности были физические страдания, болезненное состояние организма.

Несомненно, что не страдала она параличом ног, не будь обречена на сидячий образ жизни, характер её сложился бы совершенно иначе, и этим факторам она в значительной степени обязана и своей раздражительностью, и причудливостью, и аффектацией, и преждевременным развитием.

Сидя в своих «покойных креслах», Лиза о многом думала, многое переживала –

ла и рано привыкла анализировать как свои, так и чужие поступки и мысли; этим объясняется её вдумчивость и серьёзность, уживающаяся в ней с очаровательной шаловливостью, остатком того счастливого времени, когда она владела ногами и не нуждалась в «покойных креслах». Но вместе с тем характер её не мог не испортиться, нервная система не могла не расшататься от того образа жизни, который она вела.

«Да ведь я урод, меня на креслах возят!» – восклицает она и смеётся своим нервным, истерическим смехом в ответ на Алёшину признание в любви. Такое восклицание даром не даётся. В нём – объяснение значительной доли её причудливых выходов, её раздражения, потребности раздавить «что-нибудь хорошее», зажечь, всё уничтожить, сокрушить...

До сих пор мы пытались объяснить себе характер и направление Лизы Хохлаковой исключительно физическими причинами; но ограничиться лишь одними этими объяснениями, значило бы впасть в односторонность, и в известной степени «не приметить слона».

Роль этого слона в данном случае играет г-жа Хохлакова, мать Лизы. «Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми», – говорит Достоевский. Это была взбалмошная, взбудораженная женщина, с хаосом разноречивых сбивчивых мыслей и понятий в голове, в которых не только окружающие её, но и она сама не могла разобраться; женщина, которая менее всего на свете была создана стать разумной матерью, воспитательницей своего ребёнка.

Если оставить в стороне все остальные условия – болезнь Лизы, её нервный темперамент, то достаточно видеть её мать, достаточно принять в расчёт, что бедная девочка была обречена расти под эгидой и руководством этой сентиментальной, нервной дамы, чтобы заранее предсказать, что спокойной, уравновешенной натуры из неё не выйдет.

Всякий, кто прожил бы хоть небольшой период времени в тесном общении с г-жой Хохлаковой, даже будь у него нервы как канаты, – в конце концов заболел бы нервным расстройством. Какое же вредное влияние должна была оказать на ребёнка, с его тонкой восприимчивой натурой, эта взбалмошная женщина, капризная, отчасти даже ненормальная.

«Родители влияют на своих детей не столько путём наследственности, сколько силой примера, который они дают детям», – говорит Маудсли в своей «Патологии души».

Поэтому мы вправе сказать, что, помимо той доли нервозности, которую должна была обладать Лиза Хохлакова как дочь своей матери, характер её сложился главным образом под влиянием того примера, который мать показывала ей с самого нежного возраста, – под влиянием той нравственной атмосферы, в которой она жила с детства. Скажем более, в некоторых отношениях Лиза даже очень похожа на свою мать. Правда, что сходство не сразу бросается в глаза, но становится заметным для более внимательного и проницательного наблюдателя.

Возьмём, например, весьма характерную сцену, где «маловерная» дама, – как называет Достоевский почтенную г-жу Хохлакову – беседует со старцем Зосимой, исповедуется перед ним и раскрывает свою душу. Несомненно, что в эту минуту она была вполне искренна, и из тех слов, которые под влиянием высокого порыва сорвались с её уст, можно заключить, что, как это ни странно на первый взгляд, и госпожа Хохлакова способна задумываться над серьёзными, отвлечёнными вопросами, пытаться понять тайну жизни и смерти и терзаться бесплодностью этих попыток; но как нервная, взбалмошная, взбудораженная натура, она и тут остаётся верна себе: та же печать безалаберности, бесконтрольности лежит на мыслительных процессах, зарождающихся в её разгорячённом мозгу, то же отсутствие выдержки, устойчивости и последовательности, словом, отличительные свойства её характера и тут выступают на первый план.

Госпожа Хохлакова чистосердечно признаётся отцу Зосиме в том, что она страшится неверием, что мысль о будущей, загробной жизни, о том, что ожидает её «там»

– неотступно преследует её, волнует её «до страдания, до ужаса и испуга». Она сознаёт, что единственным оплотом могла бы послужить для неё вера; но верить механически она не в силах, а доказать, убедиться в существовании Бога невозможно, а потому она умоляет старца прийти ей на помощь, разрешить её сомнения.

С жадным нетерпением ждёт г-жа Хохлакова ответа мудрого, благочестивого старца, готовая с затаённым дыханием внимать каждому слову... и «в каком-то горячем, порывистом чувстве» складывает перед ним руки.

И Лиза своим пытливым умом старается проникнуть в сущность вещей. И она, как мать, задаётся отвлечёнными вопросами и обращается к Ивану Карамазову, мнение которого признаёт авторитетным, ждёт его ответа на волнующие вопросы.

Эти вопросы сводятся в конце концов к тому же, о чём беседовала г-жа Хохлакова со старцем Зосимой. Слова мамы не пропали даром: семя упало на благодатную почву и дало обильную жатву. Лиза, четырнадцатилетний подросток, «страдает неверием», сомневается в бытии Бога и думает о том, какое наказание полагается в загробном мире за самый большой грех.

Г-жа Хохлакова жаждет подвига, деятельной любви к ближним, мечтает иногда бросить всё, что она имеет, идти в сёстры милосердия и уверяет, что «никакие гнойные язвы» её не остановят. Для человечества она даже готова бросить дочь-калеку, не замечая, до какой несообразности она договаривается, отуманенная своей благородной, возвышенной мечтой – служить на пользу людям.

Лиза не отстаёт от матери: и она хочет ходить за людьми, как за больными детьми, и она целыми часами думает о бедном, распятом злодеями мальчике, о котором она вычитала в книжках; горькими слезами оплакивает его участь, что не мешая ей легко относиться к матери, мучить Алёшу и бить по щекам горничную.

Наконец, госпожа Хохлакова – натура увлекающаяся и влюбчивая. Что же касается Лизы, то хотя её преждевременная любовь к Алёше глубока и искренна, но наряду с этим наша маленькая героиня успеваёт увлечься и Иваном Карамазовым, который закружил ей голову двумя-тремя смелыми, эффектными софизмами и импонирует ей своим демоническим характером.

Наклонность к самобичеванию одинаково присуща и матери, и дочери: и та и другая, говоря о своих недостатках и слабостях, любят сгущать краски и рисовать – своими пороками.

«Я работница за плату, я требую сейчас же платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью. Иначе я никого не способна любить!» – восклицает в припадке искреннего самоуничтожения г-жа Хохлакова.

«Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот», – заявляет Лиза, с наслаждением следя за тем, как нарастает и закипает в её бедном, искалеченном сердечке непонятная злоба и раздражение на весь мир, на всё человечество.

Госпожа Хохлакова более одной секунды не способна сосредоточить своего внимания на каком-нибудь предмете или явлении: нить её мыслей беспрепятственно прерывается, вследствие чего в разговоре она постоянно перескакивает с одного предмета на другой; недаром она жаловалась Алёше, что забывает самое главное. Что касается Лизы, то с её непоследовательностью и скачками её мыслей и настроения мы уже знакомы.

После всего этого не остаётся сомнения в том, что Лиза похожа на свою мать.

Все эти рассуждения необходимы для того, чтобы доказать, что влияние, пример родителей, наследственность должны приниматься в расчёт всегда, когда мы хотим дать правильную оценку той или другой натуре, уяснить себе ход её развития, понять, отчего тот или иной характер сложился так, а не иначе.

Нелли («Униженные и оскорблённые»)

В лице бедной сиротки Нелли, Достоевский познакомил нас с целой категорией несчастных детей. Кто не знает их, этих маленьких созданий, с прозрачно-бледны-

ми личиками, недетским, старческим выражением лица, детей нищеты и разврата, с самого момента появления на свет Божий обречённых на погибель, на безвременную смерть? Рождённые и взращённые нищетой, они тут же, в душной затхлой трущобе, не зная приволья, доживают свой век, чуждые благ культуры и цивилизации, получая в удел одни лишь страдания и мучения...

Проследить развитие такого характера – дело не лёгкое; для того, чтобы проникнуть в измученную наболевшую душу маленького отщепенца общества, надо обладать тонким психологическим чутьём, мягким и любящим сердцем. Достоевский обладал этими качествами, вследствие чего его анализ характера Нелли бьёт в глаза правдивостью, а самый тип маленькой нищенки из интеллигентного класса поражает жизненностью и реализмом.

А между тем, это натура в высшей степени сложная, полная противоречий и противоположностей, с трудом поддающаяся анализу. Чтобы понять характер Нелли, надо ни на секунду не упускать из виду её прошлого, её истории, надо брать её вместе с почвой, на которой она выросла, и твёрдо помнить, что это чудный цветок, распутившийся над смрадным болотом.

Если обстановка, среда, в которой живёт и вращается человек, оказывает на него могучее влияние в течение всей жизни, то тем глубже и интенсивнее это влияние в то время, когда характер ещё не развился, когда ребёнок ещё не сложился во взрослого человека.

Условия, при которых развивалась и росла Нелли, ужасны, и в душе читателя пробуждается невольное чувство удивления и благоговения при виде той нравственной чистоты, которая каким-то чудом сохранилась в душе несчастного ребёнка посреди окружающей его тины и грязи. «Это был характер странный, нервный и пылкий, но подавляющий в себе свои порывы, симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность», – говорит про неё автор.

Нелли – недюжинное создание; в ней поражает не ум, а характер, прямой, неподкупно честный, любящее и чистое сердце; в ней есть что-то, напоминающее мученицу-фанатичку, но её фанатизм имеет своим источником не религиозное чувство; это фанатизм идеи, это – крепость убеждения, не останавливающаяся ни перед каким страданием, ни перед какой жертвой, окружающая особым ореолом это крошечное, слабосильное, невзрачное создание. «Пусть погубит, пусть мучает, – с жаром говорит бедняжка, – не я первая, другие и лучше меня, да мучаются; я бедная и хочу быть бедною, так мне мать говорила, когда умирала; я работать буду, я не хочу это платье носить...»

Читая эти строки, мысленно переносишься в другую эпоху, думаешь, что видишь перед собой мученицу первых веков христианства и невольно задаёшься вопросом: как среди нас, людей, в большинстве случаев слабых волей и лишённых энергии, очутилась эта маленькая экзальтированная фанатичка, столь преданная своей идее, столь пламенно и горячо исповедующая свои принципы и убеждения. С какой твёрдостью, с каким мужеством выносит она побои «благотворительницы» Бубновой из-за позорного кисейного платья, руководимая святым, врождённым ей инстинктом. Если бы целомудренное начало не было вложено в душу Нелли самой природой, та обстановка, в которой бедняжка влачила своё жалкое существование, неизбежно развратила бы вконец её натуру.

Но Нелли не погибла; сквозь все страдания, позор и унижения она пронесла живую нетронутую душу, светлый ум, невинность и чистое, непорочное сердце. Правда, горький, преждевременный опыт лишил её детской беспечности, ожесточил и вооружил её против людей, в которых она привыкла видеть врагов. Не много любви выпало на её долю; немудрено, что характер её ожесточился, но скорее следует удивляться тому, что не иссяк тот источник любви и нежности, который скрывался на дне её чувствительного сердечка. Если те ужасные попреки, которые сыпались

на её голову из уст злой фурии Бубновой, если те увесистые пощёчины, которые столь щедро расточала сиротке её «благодетельница», и заставили девочку уйти в себя, как уходит улитка в раковину, «замкнуться в гордость и недоступность», как выразился автор, то стоило лишь Ивану Петровичу пригреть её, проявив пример истинного человеколюбия, как мигом растаяла ледяная кора, за которой притаилось это наболевшее, оскорблённое сердце. Правда, её привязанность к юному благодетелю скоро выродилась в обыкновенное чувство влюблённости, но самый «роман» Нелли, при всей своей обыденной подкладке, при всей своей «обыкновенности», в высшей степени оригинален, своеобразен. Если в Нелли и пробудилась влюблённая и ревнующая женщина, то её прекрасная, девственно-чистая душа, её прямой характер высоко подняли её над уровнем обыкновенной влюблённой девицы. Эта четырнадцатилетняя девочка на голову переросла не только своих сверстниц, но и вполне зрелых, взрослых девушек, – настолько глубоко и серьёзно чувство, питаемое ею к своему благодетелю. И что за поразительная сила воли! Как она борется с собою, какую блестящую победу одерживает над дурными инстинктами женской природы, принудив себя любить ту, кого бы ей хотелось ненавидеть, – свою соперницу Наташу, мечтая посвятить ей всю свою жизнь и даже идти к ней в услужение лишь за то, что та любима её избранником – Ваней, а потому поставлена в особое, привилегированное положение. И если поначалу она капризничала, нервничала, завидовала, то как скоро её чистая привязанность к Ване избавилась от этих низменных оков; этому слабому, оскорблённому и униженному созданию удалось достигнуть самого высокого нравственного уровня! С трудом верится, что это дитя нищеты, дитя трущоб.

Тут сказался закон наследственности: в Нелли возродилась её страдальца-мать, бросающая в лицо своему обидчику последние кровные деньги, предпочитающая голодную смерть позору. Это святое наследие – неподкупную честность, горделивое сознание своего достоинства, благородство и истинный аристократизм – её дочь сумела сохранить в полной неприкосновенности, и в глубине того ужасного вертепа, куда забросила её безжалостная судьба, разрушилось тело, но не погибла душа.

Но если от рождения, как дочь своей матери, Нелли и обладала известными данными положительного характера, известными нравственными устоями, то полученное ею воспитание, – воспитание не в узком, а в широком значении этого слова, в смысле внешнего воздействия, оказываемого на ребёнка взрослыми, окружающей его средой, – в совокупности было таково, что не могло оказать на неё доброго влияния.

Что бы ни говорили, воспитывает, главным образом, сама жизнь, а жизнь Нелли сложилась далеко не благоприятным образом, фортуна чересчур рано повернулась к ней спиной и отвела ей место в ряду оскорблённых и униженных. При таких условиях правильное развитие немислимо: одна аномалия рождает другую. Если вспомнить ужасную, потрясающую историю Нелли, то легко понять, что из неё должно было выйти именно то изломанное, нервное, взбалмошное существо, каким она фигурирует в романе Достоевского. Тут на первом плане надо поставить «эгоизм страдания», по терминологии самого автора, – «это растравление боли, это наслаждение многих обиженных и оскорблённых, пригнетённых судьбою, сознающих в себе её несправедливость». Это поразительно меткое и верное замечание; кто не знает, что в силу противоречий и странностей, уживающихся натуре человека, он склонен произвольно растравлять свои раны, наслаждаться своей мукой, упиваться болью. В этом выражается, своего рода, вызов судьбе и человечеству, правда, протест пассивный, болезненный, вымученный! «Меня будут бранить, а я буду нарочно молчать; меня будут бить – я всё буду молчать; пусть бьют – ни за что не заплачу, им же хуже будет от злости, что я не плачу», – говорит Нелли, и на деле она оправдает эти дикие обещания. Недаром гуманными, тонко чувствующими людьми, давно уже признано, что жестокие наказания не устрашают, а развращают натуру человека: к страданиям понемногу привыкают, их

перестанут бояться, и не только не избегают, а даже ищут их, стремятся к ним и в результате получается чудовищное явление – своего рода сладострастие, наслаждение болью, упоение мукою. Так, если Нелли, разрывая злополучное кисейное платье, руководствовалась природным инстинктом, направляющим её к добру и спасающим от порока и зла, то наряду с тем в ней говорил «эгоизм страдания»: предчувствие жестоких побоев не только не удерживает, но ещё более подталкивает её совершить проступок, чтобы испытать чашу до дна, насладиться своими страданиями и досадить своим мучителям; она даже не кричит, когда её истязают; как средневековая мученица, сжигаемая на костре, она стоит вся бледная, со сжатыми губами, ни жестом, ни звуком не выдавая своих страданий, чтобы не доставить торжества своим мучителям. «Упорная сатана, молчит, хоть бей, хоть брось её – всё молчит, словно себе воды в рот набрала, – всё молчит. Сердце моё надрывает – молчит!» – наивно признаётся Бубнова.

Что бы сказала эта почтенная матрона, если бы кто-нибудь надумал её, что все её педагогические меры бесплодны, ибо её жертва в своих муках сумела найти для себя источник наслаждения, ценой жестоких страданий купила сладостное право считать себя несчастной, гордиться и упиваться своей болью, своими страданиями!.. Зная людей и жизнь лишь с их отрицательной стороны и привыкнув быть по отношению ко всему человечеству «на военном положении», Нелли свою тактику применяет и к тем, кто ей желает добра, кто искренно к ней расположен, как бы мстя им за зло, причинённое ей её мучителями. «Нелли ждала нашего гнева, думала, что её начнут бранить, упрекать и, может быть, ей бессознательно только и хотелось, чтобы иметь предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбить что-нибудь с досады, чтобы чем-нибудь утолить своё капризное, наболевшее сердечко».

Впрочем, так бывает со всеми забытыми, униженными и оскорблёнными, когда их обстоятельства меняются к лучшему; первое время они с трудом ориентируются, и при виде новой физиономии считают долгом оцетиниться, а впоследствии, освоившись с новым положением, из жертвы превращаются в деспота и наслаждаются возможностью тиранить окружающих. «Она оскорблена – рана её не могла зажить» – говорит Достоевский, призывая простить бедняжку и в её лице простить всех несчастных, сердце которых очерствело, характер которых озлобился под гнётом тяжелых обстоятельств.

Любовь и ненависть – эти два чувства идут рука об руку в характере Нелли, постоянно сплетаясь, и смешиваясь; про неё можно смело сказать, что она умеет крепко любить и сильно ненавидеть. Это оскорблённое детское сердечко способно на такую злобу, такую интенсивную ненависть, что жутко становится за ребёнка и за человека. Достаточно вспомнить сцену её встречи с князем или тот случай, когда Нелли бросает деду в лицо несчастные гроши, которые она вымолила у прохожих, терпя голод, стужу, муки оскорблённого самолюбия, лишь бы упиться мезтью, унижить старика.

Та обстановка, в которой выросла девочка, представляла собой благоприятнейшую почву для развития отрицательных свойств характера, и в этом нельзя винить бедняжку; но факт налицо, факт глубоко поучительный. Он учит беречь дитя от слишком суровых веяний жизни, стремиться к тому, чтобы подольше сохранить ему светлое неведение, лучший дар детства, а иначе последствия могут быть поистине ужасны: злоба, человеконенавистничество, мрачный пессимизм и жажда мести воцарятся в душе ребёнка, поработят его и завладеют им.

Нелли чистосердечно признаётся своим друзьям, что притворалась спящей, чтобы подслушать исповеди матери, и таким образом вся картина ужасного прошлого этой несчастной, обманутой, покинутой женщины со всеми чудовищными, подавляющими своим реализмом подробностями предстала перед светлым младенческим взором девочки. В ней забывали страсти: тут заговорила бешеная злоба на злодея, погубившего её мать, тупая ненависть к бессердечному деду, проклявшему свою несчастную дочь, и рядом с нежным цветком распустилась глубокая привя-

занность к этой страдальце–матери, какой–то восторженный культ любви и поклонения, побуждающий девочку боготворить её, считать её чуть ли не святой.

Редко, кому на долю выпадает возможность найти в ближнем такое сочувствие, такое духовное единение, которое встретила мать Нелли в лице своей малолетней дочери. И благо им обеим! Благо ей, страдальце–матери, сумевшей, найти дорогу к сердцу дочери; благо ей, маленькой девочке, прозревшей то, что недоступно порой и искущённому взору взрослых, зрелых людей. Но кто даст положительный ответ на вопрос: должно ли нежное сердце ребёнка служить ареной для человеческих страстей и не рано ли срывать завесу с глубочайших тайн жизни перед ясным взором дитяти?

На деле оказывается, что преждевременный опыт, раннее развитие – не есть хорошо. Не умея уберечь детей от тлетворного влияния житейской грязи и пошлости, следует помнить, что в лучшем случае если не загрязнится душа ребёнка, то преждевременно нарушится чудная гармония внутреннего мира дитяти, перемешаются, перепутаются все его понятия. Нелли служит наглядным тому примером: в её понятиях, взглядах, суждениях царит полнейший сумбур, разлад. Эта маленькая девочка, размышляющая, отчего Христос сказал: любите друг друга, прощайте обиды, – а её дедушка не хочет простить мамашу; этот ребёнок, в котором сознание человеческого достоинства развито в такой степени, что он может поспорить с любым взрослым, эта крошка со своеобразной логикой, заимствованной у старой нищенки, поучающей, что «у одного просить стыдно, а просить милостыню у всех – не стыдно!» – вызывает глубокое сострадание и жалость. Её преждевременное развитие не далось ей даром: оно навсегда унесло мир и спокойствие из её неболевшего сердечка, расшатало её нервную систему, подорвало её здоровье.

Маленькая героиня умирает, исполнив свою последнюю миссию, послужив орудием спасения Наташи, примирения с её семьей. В свою короткую жизнь Нелли так много переживала и перестрадала, потратила столько душевных сил, что их более не оставалось, и своей жизнью бедняжка заплатила за то, что преждевременно вкусила от древа познания добра и зла.

Образ Нелли – один из симпатичнейших детских обликов, вышедших из–под пера Достоевского; он будит в нас глубокое сочувствие и симпатию к несчастным оскорблённым и униженным детям. Заключительный аккорд – проклятие, посылаемое умирающей девочкой тому, кто погубил её мать, – придаёт ещё более мрачный колорит этой грустной истории. Он заставляет нас трепетать за человека, трепетать за самих себя, ибо мы, оставаясь пассивными зрителями этой ужасной драмы, гибели беспомощного, ни в чём неповинного создания, рискуем понести тяжёлую нравственную ответственность перед Богом и людьми за загубленную детскую душу, если преступная апатия и равнодушие своевременно не уступят места широкой гуманности, истинному человеколюбию и готовности протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

Илюша Снегирёв («Братья Карамазвы»)

Ребёнок, не более девяти лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким, худеньким, продолговатым личиком, с большими, тёмными, злобно смотрящими глазами; одет он в довольно ветхое, старенькое пальтишко, из которого уродливо вырос; голые руки торчат из рукавов; на правом колене панталон большая заплатка, на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, и видно, что она сильно замазана чернилами; в оба отдувшиеся кармашка пальто набиты камнями.

Это Илюшечка, сын штабс–капитана Снегирёва, прозванного школьниками «банною мочалкой», – маленький Дон–Кихот в образе тщедушного, болезненного, нервного ребёнка.

В этом миниатюрном тельце живёт если не великая, то, во всяком случае, недюжинная душа. В этом маленьком пролетарии много самобытного, оригинального, в высшей степени симпатичного; в этом маленьком заморыше сразу чувствуешь «душу живу», нечто такое, что принято считать достоянием исключительных, счастливых

натур, и что тут, на низшей ступени общественной лестницы, поражает наш удивлённый взор подобно чудному цветку, распутившемуся над смрадным болотом.

Но Достоевский, перед пронизательным взором которого спадали все завесы, скрывающие глубочайшие тайники человеческой души, понял и осветил для нас это кажущееся противоречие, заключающееся в том, что на дурной почве вырастают лучшие плоды.

«И вот так-то детки наши, то есть... детки презренных... нищих-с, – правду на земле ещё в девять лет от роду узнают-с. Богатым где! – те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки его целовал, в ту самую минуту всю истину произошёл-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла навеки», – говорит штабс-капитан Алёше Карамазову.

В этих словах много верного, обнаруживающего в авторе целую сокровищницу гуманности, истинного знания человеческой души. Борьба, страдания, лишения – вот те рычаги, которыми так часто приводился в движение, усовершенствовался и двигался по пути прогресса сложнейший в мире организм – человеческая личность. Вместе с Достоевским мы сошлёмся на воспитательное и развивающее влияние борьбы, лишений, бедности, той бедности, которая, появляясь сперва лишь в форме материальных лишений, нередко влечёт за собой явления чисто духовного вырождения, но которая, тем не менее, не раз послужила для человека нитью Ариадны в его блужданиях по лабиринту невежества и привела к свету, истине и добру. Бедность что мачеха: она не мать родная, она не голубит, не щадит своего питомца, она гонит его на холод и на стужу, мешает ему предаваться сладкому безделью; но она же побуждает его трудиться, развивать и совершенствовать свои способности и тем самым выводит его в люди, ставит на ноги.

Так и с Илюшей. Тут не простая нищета, а нищета «благородная». Обстановка и условия, в которых он рос, исключительны: с одной стороны, отец – «русской пехоты бывший штабс-капитан, хотя и посрамлённый своими пороками, но всё же штабс-капитан», человек, хотя и попивающий с горя, но человек всё же так или иначе имеющий счастье или несчастье считаться в некотором роде «интеллигентом». Тут сестра – курсистка или мечтающая поступить на курсы; тут сознание своего человеческого достоинства; инстинкты и стремления, хотя и подавленные нуждой, но всё же время от времени пробивающиеся на свет Божий и идущие вразрез с окружающей средой и действительностью; тут рыцарский дух и «банная мочалка», горькое сознание обиды и не менее горькое сознание своего бессилия, нравственное чувство и неумолимая логика голодного желудка: «Вызови я его на дуэль, – а ну как он меня... не убьёт, а лишь только... искалечит: работать нельзя, а рот-то всё-таки останется, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто же их-то всех тогда накормит-с?». Тут злой, юродивый юмор, шутовство паяца, крайняя наглость, граничащая в то же время с трусостью, тут «человек, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите», и рядом – нежный семьянин, горячо любящий отец, тонко и деликатно чувствующий человек. Прибавьте к этому полупомешанную мать и горбатую калеку-сестру. Вот вам та своеобразная обстановка, та почва, на которой зародился и взрос чахоточный мальчик со сверкающими глазками, этот девятилетний герой, который один против всех восстал «за отца и за истину, за правду-с».

Много у нас было всяких борцов за истину, за идею, всяких протестантов; но всё же жутко как-то становится, когда видишь в этой роли девятилетнего мальчугана; то и дело кажется, что непосильная ноша раздавит эти узенькие, слабые плечи... Так оно и случилось с Илюшей...

Девятилетний Илюша, у которого вырывается восклицание: «Папа, какой это нехороший город наш, папа!» и который с тоской вопрошает отца: «ведь богатые всех сильнее на свете?» – этот ребёнок, мечтающий восстановить принцип спра-

ведливости на земле, — бессознательно вступает на тот путь горького разочарования, протеста и борьбы, который на всём своём протяжении запечатлён кровавыми жертвами, и на котором дитяти нет места.

Но недаром же он был сыном «благородного нищего», недаром он был свидетелем безобразной сцены, разыгравшейся между его отцом и Дмитрием Карамазовым, когда этот последний выставил несчастного капитана за борodu из трактира на площадь и отдал его на посмеяние и поругание школьникам. В маленьком существе возгорелся великий гнев, и «гордый дух воспрянул в Илюше». «Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего застыдил, а этот один против всех встал за отца».

С этого дня и начинается сознательная жизнь Илюши; вернее, эта безобразная история послужила толчком, исходным пунктом для тех «процессиков», по выражению штабс-капитана, которые зародились в разгорячённом мозгу ребёнка. Началось с того, что мальчик бежал по улице, слабыми ручонками пытаясь вырвать отца из рук обидчика, заслоняя его своим маленьким, худеньким тельцем, целуя руки этого самого обидчика и моля его о прощении; но это не помогло.

«Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фамильная картина навеки в памяти у Илюши отпечатлелась», — повествует штабс-капитан.

Да, сын «благородного нищего» ни на минуту не забывал про обиду, нанесённую его несчастному отцу. В тот самый день у него сделалась лихорадка, он бредил всю ночь, а на другой день начинает он свою борьбу с общественным мнением в лице школьников-сверстников. Его отца называют трусом, «банной мочалкой», и кроткий мальчик мгновенно превращается в разъярённого зверька и с камнем в своей «махонькой ручке с тоненькими, холодными пальчиками» защищает свою фамильную честь, своё человеческое достоинство. Чувство горькой обиды, оскорблённого самолюбия, впервые зародившись в его маленьком сердечке, разгорается в большое пламя, превращается в жажду мести, в стремление во что бы то стало восстановить своё поправное достоинство.

Девятилетний мальчуган наталкивается на мысль о дуэли, сам, без посторонней помощи додумывается до заключения, что оскорбление смывается кровью. «Папа, — говорит он, — папа, вызови его на дуэль. В школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей у него возмёмшь».

И когда отец излагает ему мотивы, в силу которых его желание неисполнимо, ребёнок настойчиво требует, чтобы отец не мирился с обидчиком, и, полный веры в себя, в свои силы, восклицает: «Я вырасту, я вызову его сам и убью его!» Не следует убивать, хотя бы и на поединке», — учит отец сына. «Я его повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!»

Кому-то, пожалуй, смешным покажется этот малолетний герой, мечтающий о мести с саблей в руке, напоминающий игрушечного оловянного солдатика. Но эта миниатюрная фигурка в заплатанном пальтишке будит совершенно иные чувства: жаль Илюшечку, жаль потому, что из него вышел бы человек недожизненный, человек с живой душой.

Присматриваясь внимательно к сыну «банной мочалки», невольно начинаешь благоговеть перед этим ребёнком и удивляться ему. Какой неистощимый родник нежности, любви, привязанности скрыт в глубине этого маленького озлобленного сердечка; как деликатен он по отношению к своему несчастному отцу. Этот такт в девятилетнем ребёнке, побуждающий его скрывать в себе свои чувства и не давать им воли, чтобы не разбередить отцовскую рану, этот такт и тонкое понимание особенно поразительны в нём как сыне своего отца, «штабс-капитана, посрамлённого своими пороками», попивающего с горя. Всякий отец мог бы гордиться таким сыном. Недаром штабс-капитан обожал своего Илюшечку и тысячу раз был он прав,

заявляя Алёше Карамазову, что не накажет ради него своего мальчика. Он даже боялся Илюшечку, и такое, на первый взгляд, ненормальное отношение отца к девятилетнему сыну становится вполне понятным ввиду нравственного превосходства Илюши перед изломанным отцом.

Илюша на голову перерос «капитана русской пехоты». Вспомним, например, следующий эпизод из их взаимоотношений. Отец, желая развлечь умирающего сына, рассказывал ему сказки, смешные анекдоты или представлял собой разных смешных людей, которых ему удавалось встречать; даже подражал животным, как они смешно воют или кричат. Но Илюша очень не любил, когда отец кривлялся и представлял собой шута. Мальчик, хоть и старался не показывать, что ему это неприятно, но с болью сознавал, что отец в обществе унижен, и всегда неотвязно вспоминал о «банной мочалке».

Илюша – ангел-хранитель своего несчастного отца, он будит в старике сознание собственного достоинства. В грустном инциденте с Дмитрием Карамазовым его же страдальческий облик спасает отца от соблазна, когда Алёша предлагает ему деньги от невесты его обидчика как бы в возмещение нанесённого ему оскорбления. И если впоследствии он, отказавшись от своего гонора, смиренно принимает подаяние, то делает это всё для него же, своего обожаемого мальчика, чтобы иметь возможность пригласить к нему доктора и купить лекарство, подобно тому, как ради него перестал пить и по целым дням где-нибудь в тёмном углу, «прислонившись лбом к стене, начинал плакать и рыдать каким-то залихватным, сотрясающим плачем, давая свой голос, чтобы рыданий его не было слышно у Илюшечки».

Читая эту трогательную в своей простоте историю Илюшечки, невольно начинаешь любить этого маленького чахоточного мальчика за его светлую, прекрасную душу. И если кроткий Илюша бросается с ножом в руках на своего товарища Красоткина, если он укусил палец Алёше Карамазову, видя в нём брата своего смертельного врага Дмитрия, – то не его, бедняжку, надо за это винить, а те безобразные жизненные условия, которые искалечили эту чистую, прозрачную, как кристалл, детскую душу.

Илюшин товарищ Коля Красоткин чрезвычайно верно в нескольких штрихах характеризует нашего героя. «Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, гордый, глазёнки горят». И далее: «Примечаю, что в мальчишке развивается какая то чувствительность, сентиментальность... И к тому же противоречия: горд, а мне предан рабски... а вдруг засверкают глазёнки, и не хочет даже согласиться со мной, спорит, на стену лезет... Вольный душок завёлся!»

Таков он весь, этот маленький Дон-Кихот. Прав Достоевский, говоря, что у людей богатых такого ребёнка не может быть. Его гордость не есть самосознание и самоуважение свободной личности; это наследственная гордость человека, «долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя», это плод унижений, это, так сказать, прерогатива гольтёбы, привилегия, хотя отчасти и горькая, но вместе с тем бесконечно сладостная, благодатная.

«Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моём роде-с, – говорит штабс-капитан. – Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с...»

Глубокий смысл скрыт в этих словах, и в них же заключается начало, примиряющее нас со смертью Илюшечки, с безвременной гибелью этого милого ребёнка: не даром он прошёл свой путь, краткий и страдальческий, не бесцельно было его младенческое существование; ему обязан его забытый, униженный отец, этот «человек, который ужасно хочет вас ударить и боится, что вы его ударите», – сознанием того, что есть на свете существо, которое его понимает, ценит и любит, и в этом маленьком, тщедушном организме, только что начавшем жить и так безвременно сошедшем в могилу скрыть залог возрождения другого человеческого существа, уже поломанного жизнью, уже изжившего свой век.

Но неужели одна нужда, одна благородная нищета сделала Илюшечку Илюшечкой?

Если повнимательнее присмотреться к самому штабс-капитану, то сквозь юродивый юмор, сквозь уривлянье и паясничество, сквозь всю кору наслоений, вызванных нищетой и унижениями, всё же можно отличить ту же живую душу, хотя и помрачённую, которая так младенчески чиста и прекрасна в девятилетнем Илюше. Этот оскорблённый и униженный старик, сохранивший в своих «недрах», как он сам называет своё убогое жилище, способность откликнуться на чужое страдание, этот полупьяный шут, рыцарски вежливый и деликатный по отношению к большой жене, разумно снисходительный к дочери-курсистке, мечтающей о Бокле и принуждённой мыть бельё, — это самый нежный отец, которого можно себе представить, обожаящий своего Илюшу, способный ради него на любые жертвы.

Отчего же если высокие таланты и дарования, гражданские доблести и добродетели могут переходить по наследству от предка к потомку, отчего не признать, что эти скромные качества родителя могли передаться Илюше, который своим чутким и любящим сердцем понял и оценил несчастного отца и в паяце увидел человека! Оказывается, что любовь творит чудеса и даёт хороший плод на дурной почве.

Однако нельзя ограничиться этим одним; помимо симпатии к Илюше, надо помнить, что жизнь его сложилась чрезвычайно неправильно, и что сам он, этот девятилетний ребёнок, додумавшийся до горьких выводов, что всех сильнее на свете богатые, это слабое, большое дитя, являющееся в образе Дон-Кихота, в роли протестанта, — представляет собой аномалию. Недаром же пал он жертвой этой непосильной борьбы, смертью искупил своё преждевременное развитие.

А ведь за этим Илюшечкой стоит целая плеяда илюшечек, таких же оскорблённых и униженных детей, забитых и загнанных, бессильных отомстить своему обидчику, но тем не менее всеми фибрами своего бедного маленького сердечка чувствующих обиду и «в великом гневе» сжимающих в кулачки свои махонькие ручонки с тоненькими пальчиками. Видно уж очень неудовлетворителен социальный строй, допускающий подобные аномалии.

И Достоевский именно так относится к этому вопросу, стоит лишь припомнить легенду о Великом Инквизиторе и вдохновенные слова Ивана Карамазова.

«Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, ещё не умеющее даже осмыслить, что с ним делается, бьёт себя... крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слёзками к «Боженьке», чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахию... понимаешь ли ты, для чего эта ахию так нужна и создана! Без неё, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка к «Боженьке».

Коля Красоткин («Братья Карамазовы»)

Коля Красоткин — юный философ, совмещающий в себе и народника, и врага прогресса, и нигилиста, и социалиста, и тринадцатилетнего школьника, — очень интересное явление. Интересен он прежде всего тем, что представляет собой продукт именно нашей почвы; только в благодатной матушке Руси нарождаются подобные типы.

В русской культуре, в русском человеке есть нечто оригинальное, нечто своеобразное, чего «не вырубешь топором» и что составляет неотъемлемую собственность русского народного характера. Здесь на первый план надо поставить сметливость и сообразительность. И нельзя не признать в этом тринадцатилетнем герое в высшей степени находчивого, сообразительного и сметливого подростка.

Правда, многие из его воззрений поверхностны, но чего же требовать от тринадцатилетнего мальчика? Правда, задаваясь мировыми вопросами, он частенько,

что называется, рубит с плеча, но в этом мусоре порой встречаются настоящие жемчужные зёрна, и невольно прощаешь юному философу его опрометчивые суждения за тот здравый смысл, за ту чисто русскую сметку, которые заставляют признать в нём законного сына того русского народа, из которого вышли Ломоносов и другие самородки.

Есть положительно художественные штрихи в грациозном эпизоде о Коле Крапсотикине, где рельефно выступают именно те стороны характера русского школьника, о которых только что шла речь.

Возьмём хотя бы встречу Коли с мужиком.

Тот допрашивает его:

«— В школьниках небось?

— В школьниках.

— Что же тебя, порют?

— Не то чтобы, а так.

— Больно?

— Не без того!

— Эх, жисть! — вздохнул мужик от всего сердца.

— Прощай, Матвей.

— Прощай, парнишка ты милый, вот что...

Мальчики пошли дальше.

— Это хороший мужик, — заговорил Коля Смуров. — Я люблю поговорить с народом и всегда рад отдать ему справедливость.

— Зачем ты ему соврал, что у нас секут? — спросил Смуров.

— Надо же было его утешить!

— Чем это?

— Видишь, Смуров, не люблю я, когда переспрашивают, если не понимают с первого слова. Иного и растолковать нельзя. По идее мужика, школьника порют и должны пороть: что, дескать, за школьник, если его не порют? И вдруг я скажу ему, что у нас не порют, ведь он этим огорчится. А впрочем, ты этого не понимаешь. С народом надо умеючи говорить».

Какова логика русского школьника! А ведь он далеко не глуп и порядком сметлив и находчив этот юный гражданин русского отечества!..

Или дальше:

Коля подходит на площади к глуповатому парню:

«— К Вознесенью ходил? — строго и настойчиво вдруг спросил он его.

— К какому Вознесенью? Зачем? Нет, не ходил, — опешил немного парень.

— Сабанеева знаешь? — ещё настойчивее и ещё строже продолжал Коля.

— Какого те Сабанеева? Нет, не знаю.

— Ну и чёрт с тобой после этого! — отрезал вдруг Коля и, круто повернув направо, быстро зашагал своею дорогой, как будто и говорить презирая с таким олухом, который Сабанеева даже не знает».

А на площади поднялась кутерьма. Искра, заронённая шаловливым мальчиком, разгорелась в целое пламя. Таинственный Сабанеев смутил народное воображение и нарушил покой глуповатого парня — и пошла потеха, чуть до драки не дошло!

А ведь Коля неспроста спросил парня, знает ли он какого-то мифического Сабанеева, и это была не простая ребяческая шалость с его стороны.

«— Про какого ты его спросил Сабанеева? — спросил он (товарищ) Колю...

— А почём я знаю, про какого? Теперь у них до вечера крику будет. Я люблю расшевелить дураков во всех слоях общества».

В своих столкновениях с народом Коля буквально неподражаем. И хотя его пышные фразы вроде: «я всегда готов признать ум в народе», «я люблю народ и

всегда готов отдать ему справедливость, но отнюдь не балуя его), «мы отстали от народа» и пр. и вызывают порой насмешливую улыбку на устах самого снисходительного слушателя, когда их с неподражаемым апломбом произносит тринадцатилетний мальчуган, но нельзя не признать в этом юном мыслителе тонкого понимания народного характера, чуткости и отзывчивости, которые дают ему возможность спеться с этим народом и попадать ему в унисон.

Еще одна характерная черта: в Коле бездна юмора, того неиссякаемого народного остроумия, которое, созревая порой в глубокомысленную и поучительную по словицу, изливается в тысяче метких поговорок, едких шуток и так и бьёт ключом из каждой побасенки, из каждой несложной песенки. У Коли для всякого припасен ответ, всех – то он умеет развеселить, насмешить, заставить хохотать до слёз и в шуточной беседе потопить своё горе, свои дневные заботы и жизненные тяготы. Стоит ему только разойтись, «поехать», как он выражается.

«– Здравствуй, Наташа, – крикнул он одной из торговок под навесом.

– Какая я тебе Наташа, я Марья, – крикливо ответила торговка, далеко ещё не старая женщина.

– Это хорошо, что Марья, прощай.

– Ах ты, пострелёнок, от земли не видать, а туда же!

– Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, – зама- хал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.

– А что мне тебе рассказывать в воскресенье? Сам привязался, а не я к тебе, озорник, – раскричалась Марья».

Но уже общий гомерический хохот покрывает визгливые ноты её надтреснутого голоса.

И так всегда бывает с Колей: со своим появлением он вносит повсюду веселье, оживление, смех. Неудивительно, что весь базар его знает, любит милого забавника и охотно прощает ему шалости.

Однако было бы в высшей степени несправедливо предположить, что одними шутками исчерпывалась вся деятельность Коли, что на это легкомысленное занятие уходили все его духовные силы. Он «весь отдавался идеям и действительной жизни», как на своём высокопарном школьническом языке он определял свою деятельность.

И действительно, за Колей есть серьёзные заслуги.

Взять хотя бы его отношение к младшим или то благотворное влияние, которое он имел на сверстников, хотя бы на Илюшу. Если Коля и причинил большие страдания чуткому впечатлительному Илюше в эпизоде с собачкой Жучкой, которую Илюшечка чуть было не отправил на тот свет, угостив булавкой, то нельзя не согласиться, что этому же своему тирану и деспоту Коле сын «банной мочалки» был многим обязан.

«Видите, Карамазов, весной Илюша поступает в приготовительный класс. Ну, известно, наш приготовительный класс: мальчишки, детвора. Илюшу тотчас же начали задирать. Я двумя классами выше и, разумеется, смотрю издали со стороны. Вижу, мальчик маленький, слабенький, но не подчиняется, даже с ними дерётся, гордый, глазёнки горят. Я люблю этаких. А они его пуще. Главное, у него тогда было платьишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его и за это. Унижают. Нет, это уж я не люблю, тотчас же заступился и экстрарафферу задал. Я ведь их бью, а они меня обожают, вы знаете ли это, Карамазов? – экспансивно похвастался Коля. – Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят, даже сегодня меня задержали. Таким образом, Илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию».

Хотя в отношении старшего школьника к младшему товарищу и проявилось доброе сердце первого, но это ещё не все; самое важное – это воспитательное

влияние, которое Коля имел на своего маленького протеже. Он «кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как Бога, лезет мне подражать... Я его учу, развиваю... Примечая, что в мальчике развивается какая то чувствительность, сентиментальность... И вот, чтоб его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь ещё ладнокровнее, нарочно так поступаю, таково моё убеждение. Я имел в виду вышколить характер, выровнять, создать человека...»

Это правильное понимание детской души, детского характера в Коле развито поразительно в применении к его юному возрасту. Происходит это главным образом оттого, что в Коле бездна чувства, что душа его от природы чутка и восприимчива. И хотя он и уверяет, что терпеть не может «телячьих нежностей», но не отделаться ему от этой сентиментальной чувствительности, которую он считает признаком ребячества и ненавидит пуще всего на свете.

Помимо хороших природных задатков, Коля имел счастье вырасти под крыльшком такой матери, что из него волей-неволей должен был выйти юноша с добрым, мягким сердцем, с живой и отзывчивой душой. Те любовь и нежность, какими с самого младенчества окружила его мать, должны были войти в кровь и плоть мальчика и растопить ту кору эгоизма, самолюбия и чисто мальчишеского задора, которыми под влиянием школьных обычаев обросло чувствительное сердечко «маменькиного сынка». Это столь нежелательное во многих случаях для мальчика женское влияние и женское воспитание для Коли послужило залогом спасенья и поддержало его в ту переходную эпоху, которую переживает раньше или позже всякий юноша-подросток, эпоху, когда в юном организме всё бурлит, бродит и посреди хаоса разноречивых чувств и ощущений начинают вырабатываться первые серьёзные убеждения, закаляться воля, формироваться характер.

Напрасно Колина мать тревожилась, что сын её «бесчувствен», что он «мало любит». Она могла быть вполне спокойна, что те семена, которые она забросила в его детское сердечко, не заглохнут и не пропадут. Недаром она, оставшись вдовой восемнадцати лет, всю себя посвятила воспитанию своего мальчика Коли, любила его без памяти, недаром «бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли школьников, и лисила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не прибили его». Тот, кто с детства дышал теплой, мягкой, благотворной атмосферой любви, тот никогда не очерствеет в жизненной борьбе и посреди самых жестоких испытаний сохранит «душу живую».

У нас слишком рано начинают жить и мыслить. Ещё на рубеже жизни, ещё на школьной скамье подростка охватывает такой порыв, такой бурный вихрь, что надо быть молодцом, чтобы удержаться на ногах. Нет ни одной сферы, которую он оставил бы в покое; философия, искусство, наука, жизнь, религия, этика – всё одинаково влечёт к себе только что прозревшего юнца. Закон постепенности и последовательности, труд и терпение – всё это мёртвый звук для юных мыслителей. Бокль, Шопенгауэр, Белинский, Писарев – все эти громкие имена не пугают вновь народившихся философов, и тринадцатилетний Коля третирует этого «старика Белинского».

Если верить на слово юному герою, что он прочёл все эти тяжёлые фолианты, дал себе труд ознакомиться близко со всеми этими господами, которых он выдаёт за своих старых хороших знакомых.

Если же усомниться в его словах, то есть риск услышать откровенное признание, вроде того, что из всех произведений «старика Белинского» юный философ прочёл только «то место, где говорится о Татьяне», а Онегина «собирается прочесть». Хорошо, если удастся добиться хотя бы такого признания.

Но хуже всего упорное настоячивое невежество и самонмнение. «Нынче все боятся быть смешными и тем несчастны. Нынче почти дети начали уже этим страдать. Это своего рода сумасшествие», – говорит Алёша Карамазов.

И далее: «Кто признается в чём-нибудь дурном и даже смешном? Никто, да и потребность даже перестали в этом находить, в самоосуждении».

Это замечание поразительно меткое и верное. К несчастью, ложный стыд – одна из моральных болезней, тлетворному влиянию которой подвержена чуть ли ни вся молодёжь. Рождает его болезненное, уродливое самолюбие, с детства развивающееся в ущерб другим свойствам и качествам, вырастающее постепенно в гиганта, который хочет подчинить себе всё и вся и, начиная с других, с окружающих, переносит в конце концов свою тиранию на самую личность, губит и душист всё, что есть лучшего в душе человека.

«Это от молодости, это пройдёт с годами» – читаем мы у автора.

Глубоко правдиво и искренно восклицание Коли:

– О, Карамзев, я глубоко несчастен. Я воображаю иногда Бог знает что, что надо мной все смеются, весь мир, и я тогда, я просто готов тогда уничтожить весь поряток вещей.

– И мучаете окружающих, – улыбнулся Алёша.

– И мучаю окружающих, особенно мать...» – чистосердечно признаётся Коля.

Вот поистине «злонравия достойные плоды». Но корень этого злонравия лежит отнюдь не в самом Коле; он вне его – в той среде, в той обстановке, в которой он вырастает и живёт.

Самолюбие, самомнение, самохвальство, ложный стыд – вот обыкновенные болезни школьника. И это уродливое самолюбие – основной мотив в характере Коли. Этот ребёнок от природы очень неглуп, к тому же в отцовском шкафу он нашёл несколько книг, читать которые ему бы не следовало, но которые он все же прочёл и усвоил себе с грехом пополам. Мальчик он смелый, ловкий, характера упорного, духа дерзкого, предприимчивого. Учится хорошо; сметлив, понятлив. Мать, женщина добрая и любящая, но недалекая и не особенно развитая, она «подчинилась сыну, о, давно подчинилась»; товарищи, убедившись в его преимуществах и совершенствах, начинают преклоняться перед ним; после того, как из всемирной истории он сбил самого учителя Дарданелова, преподаватели, знакомые – все расточают ему похвалы.

Это ли не почва, на которой могло разрастись самое чудовищное, самое беззаветное самомнение, самое болезненное, извращённое самолюбие? Так оно и случилось.

Прежде всего в Коле развилась страсть «что-нибудь намудрить, начудесить, задать экстрафенеру, шик, порисоваться». Надо же поддержать свою репутацию ребёнка-феномена, удержаться на высоте того пьедестала, на который возвели его все окружающие: мать, товарищи, те же учителя, которые приходили в восторг от познаний и ума маленького философа!

И вот когда пятнадцатилетние товарищи стали задирать перед ним нос и не хотели признавать в нём себе равного, то самолюбивый мальчик не в состоянии был снести такого оскорбления и поставил на карту свою жизнь: на пари он лёг между рельсами под поезд. К счастью, эта шалость благополучно сошла ему с рук; он отделался лёгким обмороком и лихорадкой, зато своим «подвигом» высоко поставил себя в общественном мнении и навсегда закрепил за собой славу смельчака и героя. Жаль, что не нашлось никого, кто бы отрезвил мальчика, кто бы объяснил ему, что этот «подвиг» – не что иное, как чисто мальчишеская, школьническая выходка, и выставил бы ему на вид всю неблагоприятность его поступка, стоящего столько слёз его бедной матери.

Много минут в жизни Коли было отравлено из-за всё того же уродливого самолюбия, заполонившего его ребяческое сердечко. Он не смеет сходить с людьми: тот кумир, которому он поклоняется, заставляет его постоянно быть настроже.

Надо было себя в грязь лицом не ударить, показать независимость: «А то подумает, что мне тринадцать лет, и примет меня за такого же мальчишку... Тоже надо не очень высказываться, а то сразу – то с объятиями, он и подумает... Тьфу, какая будет мерзость, если подумает!..» – так рассуждает Коля перед встречей с Алёшей.

Мало того, он не смеет признавать никаких авторитетов, буквально «не смеет» и должен всё и вся бранить, «критиковать», и Коля заявляет авторитетным тоном, что «медицина – величайшая подлость», что «всемирная история – изучение ряда глупостей человеческих и только», что «классические языки – одно сумасшествие».

Не одни лишь научные основы пытается поколебать наш либеральный гимназист – ему мало замкнутого школьного мирка, и вновь оперившийся птенец вылетает за пределы своей тесной клетки и спешит принять участие в действительной жизни. Но и тут он применяет свой привычный метод: он твёрдо помнит, что для того, чтобы прослыть умником, нужно всё критиковать, всё бранить и порицать. «Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист», – спешит отрекомендоваться Коля своему новому приятелю Алёше.

Будь на Алёшином месте человек, не обладающий такой чуткой душой, таким светлым умом и здравым рассудком, он, пожалуй, не на шутку бы перепугался. Но Алёша в ответ только засмеялся и спросил молодого радикала:

«– Социалист?.. – да когда это вы успели? Ведь вам ещё только тринадцать лет, кажется?..»

Колю скрючило.

– Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, – так и вспыхнул он, – а во вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета? Дело в том каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

– Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст... – ответил Алёша, но Коля горячо его прервал.

– Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

– Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! – воскликнул Алёша.

– Помилуйте, зачем же непременно прочёл? И никто ровно не научил. Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно».

Тут уж сам Алёша ошел: «Ну где, ну где вы этого нахватались!»

Кроме всего прочего, у Коли был прекрасный наставник и руководитель в лице г. Ракитина – этого типичного представителя породы «полузнаек», который даже уговаривал Колю, как тот уверяет, бежать в Америку. К счастью, в ученике сказались благоразумие и он отклонил это предложение, сославшись на то, что «бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества?»

И благо есть Алёша, сближение с которым ценно само по себе.

«Я в вас не ошибся. Вы способны утешить. О, как я стремился к вам, Карамазов, как давно уже ищу встречи с вами!» – в восторге восклицает Коля.

Это тем более ценно, что Алёша, для того чтобы заслужить расположение юного героя, выбрал совсем не тот путь, которым шли все эти господа Ракитины: не лестью, не притворством подкупил он сердце самолюбивого мальчика; наоборот, он первый осмелился не оказать должного уважения тринадцатилетнему философу и вместо того, чтобы поклоняться мальчику-феномену, восторгаться его умом, познаниями, развитием, повторять с восхищением его остроты, – сразу поставил его на подобающее место, спокойно и беспристрастно разобрал его, выделил всё наносное, напускное в его речах и манере держать себя, с беспощадной суровостью изобличил фальшь, низвёл его с пьедестала, нисколько не принимая в расчёт его болезненного самолюбия.

И что же? Казалось бы, Алёша должен был таким отношением оттолкнуть от себя Колю. Ничуть нет; он пришёл к обратному результату: он покорило сердце Коли.

И тут никакого волшебства не потребовалось; тот способ, который избрал Алёша, донельзя прост; весь секрет заключается в том, что как бы ни была извращена и исковеркана человеческая натура, правда, вовремя и умело сказанная, всегда найдёт доступ в его душу. В особенности если она сказана не ради изобличения, не из злобы и вражды, а имеет своим источником любовь, искреннюю неподдельную привязанность.

Коля сразу понял, что Алёша его полюбил, справедливо и хорошо к нему отнёсся, а потому мальчик терпеливо выслушал из уст Алёши несколько горьких истин и даже откровенно покаялся в своих слабостях и недостатках.

«Я не приходил (к Илюше) из самолюбия, из эгоистического самолюбия и подлого самовластия, от которого всю жизнь не могу избавиться, хотя всю жизнь ломаю себя. Я теперь это вижу, я во многом подлец, Карамазов!»

Такая исповедь в устах болезненно самолюбивого мальчика-феномена чего-нибудь да стоит!

«Нет, вы прелестная натура, хотя и извращённая», – справедливо заметил Алёша в ответ на Колино признание. И этот отзыв так порадовал Колю, словно ему пришлось услышать величайший комплимент и похвалу.

«Если бы вы только знали, как я дорожу вашим мнением!» – с жаром воскликнул он.

Дело в том, что Коля, как мальчик от природы умный, чуткий, сразу разгадал в Алёше недюжинную личность, человека, который на целую голову стоит выше всяких Ракитиных, и притом человека правды, который никогда не солжёт, ни на йоту не отклонится от истины. Вот почему малейшее одобрение со стороны этого строгого критика звучит для Колиного избалованного слуха слаще всех тех хвалебных гимнов, которые с утра до ночи поют ему все окружающие.

Есть ещё причина, почему он сразу полюбил Алёшу, но она лежит в самой личности младшего Карамазова: Алёша был донельзя прост, мягок, снисходителен к людям; он умел им прощать многое. Он никому не давал чувствовать своего превосходства и со всяким обращался, как с равным. «Знаете, меня всего более восхищает, что вы со мной совершенно как с ровней. А мы не ровня, нет не ровня, вы выше! Но мы сойдемся», – говорит Коля Алёше.

И они сошлись. Сошлись до того, что Коля беспрекословно повиновался Алёше, хотя право последнего – право чисто нравственное, а сила его не в силе, а в любви.

«Есть только одно существо в целом мире, которое может приказывать Николаю Красоткину, это вот этот человек», – говорит Коля об Алёше.

Если в лице Коли – этого типичного представителя подрастающей учащейся молодёжи – Достоевский и осудил школьную систему воспитания того периода и развенчал всех лжепророков и руководителей молодёжи вроде Ракитиных, то в лице Алёши он показал тот путь, каким должно идти, чтобы по мере сил и возможностей исправить то дурное, что уже сделано, и чтобы впредь – мимо заблуждений и фальши – идти к истине и добру.

Маленький герой («Маленький герой»)

Рассказ «Маленький герой» имеет форму дневника, который ведётся от лица одиннадцатилетнего ребёнка.

С первых же строк ярко обрисовывается среда, которой окружён юный герой детского романа, причём автор, как истинный художник, рисует эту среду именно такой, какой она должна была быть, чтобы дать жизнь подобному детскому типу. Одиннадцатилетний мальчуган попал в подмосковную деревню к помещику-амфитриону, превратившему свой дом в шумную, многолюдную гостиницу для званных и незванных. К несчастью, в этот мир бесшабашного веселья, туда, где царили «суета сует и всяческая суета», имели доступ одиннадцатилетние дети. «Было шумно и весело. Казалось, эго был праздник, который с тем и начался, чтобы никогда не кончиться. Поминутно

наезжали новые гости. Увеселенья сменялись одни другими, и затеям конца не предвиделось». Но главная беда в том, что «злословие, сплетни шли своим чередом».

Легко себе представить, как подобная обстановка должна была действовать на впечатлительную детскую натуру. И если святое детское неведение – драгоценное преимущество нежного возраста – защищало отчасти маленького героя от того тлетворного яда, которым была проникнута атмосфера помещичьего развешёлого гнезда, всё же яд этот тысячами неуловимых острых стрел пронзил его детское сердечко, которое на болезненные впечатления, воспринятые извне, реагировало болезненными ощущениями. Вот как описывает юный автор дневника своё внутреннее состояние: «Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск и шум – всё это доселе невиданное и не слышанное мною – так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся, и маленькая голова моя закружилась».

Конечно, я был ребёнок, не более как ребёнок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, ещё не думали справляться с моими годами. Но, странное дело, какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною, что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему, но от чего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо моё. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтобы перевести дух и что-то припомнить, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил и про что теперь вдруг забыл, без чего мне, однако, покуда нельзя теперь показаться и никак нельзя быть. То, наконец, казалось мне, что я что-то затаил от всех, но ни за что и никому не сказывал об этом, затем что стыдно было мне, маленькому человеку, до слёз».

Какая чудная, высокохудожественная картина детской души, повергнутой в хаос и смущение, переживающей первый мучительный кризис, какое меткое изображение беспомощного, маленького человеческого существа, делающего первые шаги на жизненном пути! Первая любовная лихорадка заставляет пламенеть его щёки, ускоренно биться пульс и замирать в каком-то блаженстве. «Болезнь» течёт, так сказать, своим чередом, и не было бы причин тревожиться, если бы «пациент» не был так молод. А ведь ему всего одиннадцать лет и он, по собственному признанию «ещё ребёнок, не более как ребёнок!»

Дальнейшим изображением страсти, овладевшей маленьким героем, Достоевский направляет читателя в ту сторону, где следует искать разгадку этого странного, болезненного явления. «Конечно, ничего бы не случилось со мною, если бы я не был в исключительно положении. На глаза всех этих прекрасных дам, я всё ещё был то же маленькое, неопределённое существо, которое они подчас любили ласкать, и с которым им можно было играть как с маленькой куклой». Эти милые забавницы, словно шаловливые дети, недостаточно осторожно обходились со своей очаровательной игрушкой и совершенно упустили из виду её хрупкость – увы! – чистое, прозрачное, как хрусталь, детское сердечко дало трещину. Нарушилась та чудная гармония, которую благородная природа-мать установила в неопытной детской душе, затрепетали ещё неокрепшие, слабо натянутые струны нежнейшего из музыкальных инструментов и получился чудовищный диссонанс.

Впрочем, сама героиня романа – г-жа М..., – вполне достойная женщина, обладающая мягкой, отзывчивой душой. «Возле неё всякому становилось как-то лучше, свободнее, как-то теплее. Было что-то в лице её, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии». «Есть женщины, которые точно сёстры милосердия в жизни».

Казалось бы, такая личность могла внушить к себе только хорошие, здоровые чувства, и с трудом верится, что она послужила виновницей того болезненного

процесса, который разыгрался в ребяческом сердечке маленького героя. И действительно, ответственность за нарушенный мир детской души всецело падает на то общество, которое окружало маленького героя. Единственная вина г-жи М... – это пассивное, равнодушное отношение к той драме, которая разыгрывалась в сердце ребёнка. Как умная и тонко чувствующая женщина, она должна была разгадать таинственный процесс зарождающейся любви и вовремя прервать его. К несчастью, наше общество ещё не прониклось сознанием того великого значения, которое имеет в деле воспитания подрастающего поколения правильное понимание и тщательное изучение законов детской психики...

Результат не заставил себя ожидать: ученик оказал блестящие успехи «в науке страсти нежной», искра разгорелась в яркое, всепоглощающее пламя, и маленький герой безумно влюбился в г-жу М..., влюбился той болезненной, ненормальной страстью, которая могла родиться только на такой болезненной, ненормальной почве. «Часто по целым часам я как будто и не мог уже от неё оторваться, я заучивал каждое движение, каждый жест её, вибрации её голоса, – и странное дело! из всех наблюдений своих вынес вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любопытство, похожее было на то, как будто я допытывался до какой-то тайны».

Взвинченное, до болезненности восприимчивое самолюбие идёт в нём рука об руку с этой нездоровой страстью, обуревающей его детскую душу. «Когда случилось, раздавался общий смех надо мною, в котором даже м-ме М... иногда невольно принимала участие, тогда я в отчаянии, вне себя от горя, вырывался от своих тиранок и убегал наверх, где и дичал остальную часть дня, не смея показать своего лица в зале».

Ревность и любовь нераздельны, и наш герой, пережив первую стадию влюблённости, когда довольствуются вздохами, мимолётными взглядами и созерцанием любимого существа, перешёл во вторую стадию, когда стремятся к полному, нераздельному обладанию любимым существом и ревнуют его к окружающим. Прежде всего это чувство ревности порождается в маленьком герое присутствием мужа г-жи М..., которого он возненавидел всеми силами своей детской души. Эта ненависть имеет своим источником то нежное сочувствие и беспредельную преданность, которые он питал к своей избраннице, бывшей, по его мнению, несчастной в замужестве с этим «толстым, раздутым мешком, полным сентенций, модных фраз и ярлыков всех сортов и родов».

Сама виновница этих недетских страстей в ребяческом сердечке маленького героя, относится ко всей этой истории равнодушно и даже бессознательно жестоко. Её же подруга, коварная блондинка, в своих неуместных шутках над бедным беззащитным ребёнком доходит до апогея: за столом в присутствии огромного общества она громогласно рассказывает, что у г-на М. имеется опасный соперник, безумно влюблённый в его жену, и это не кто иной, как наш маленький герой. Уже достаточно натянутая струна издала вымученный, болезненный звук – нежная детская душа не выдержала чересчур грубого прикосновения и произошла болезненная реакция. «Полный слёз, тоски, отчаяния, задыхаясь от стыда, я закричал прерывающимся от слёз и негодования голосом по адресу своей мучительницы. – И не стыдно Вам? вслух... при всех дамах... говорить такую худую неправду... Вам, точно маленькой, при всех мужчинах... Что они скажут? Вы такая большая... замужняя...»

Но эти детские слёзы, это детское отчаяние вместо того, чтобы образумить общество, разбудить в нём совесть и рассудок, привели к совершенно обратным последствиям: вызвали припадок адского смеха; вся драма, разыгрывающаяся в душе ребёнка, вся буря, разрывающая на части его бедное сердечко, совершенно ускользают от просвещённого взора прелестных дам. А между тем тут есть над чем призадуматься. «Я был отуманен, – говорит маленький герой, – слышал только, что моё сердечко бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и залился бессильными слезами. Я был раздражён; во мне кипели негодование и ненависть, которой доселе не знал я никогда, потому что в первый раз в жизни только испытал серьёзную горе, оскорбление, обиду».

«Во мне, в ребёнке было грубо затронуто первое, неопытное, необразовавшееся чувство, был так рано обнажён и поруган первый благоуханный девственный стыд».

Бедный мальчик, сбитый с толку и одурманенный, совсем потерял почву под ногами. Уязвлённое до крайности самолюбие, взвинченные нервы, дурно направленное воображение сделали своё дело, и ребёнок, став жертвой недетской страсти, решается на безумный поступок — ставит на карту свою жизнь, руководимый слепой жадной мести, тщеславием, суетным желанием совершить подвиг на глазах своей возлюбленной. «Это был миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж теперь переполнилась мера, и я вдруг теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось, сразить наповал всех врагов моих и отмстить им за всё и при всех, показав теперь, каков я человек».

Мальчика спас счастливый случай. А ведь его жизнь висела на волоске и ответственность за эту безвременно порванную драгоценную жизненную нить всецело бы пала на ту уродливую среду, которая окружала ребёнка, на ту безобразную систему воспитания, которую к нему применяли. И ужаснее всего то, что даже грядущая возможная катастрофа не отрезвила бы общества, что никто не доказал бы мальчику, что его безумная выходка заслуживает строгого порицания; наоборот, всякий спешил провозгласить его героем, рыцарем. «Делорж, Тогенбург!» — раздавалось вокруг. Послышались рукоплескания. «Ай да грядущее поколение!» — воскликнул хозяин.

После этого инцидента страсть, обуревающая юного героя, разгорелась ещё более ярким пламенем, получив, так сказать, «санкцию» от лица общества. Как истинный рыцарь, он окружает обожанием даму своего сердца. Все вещи, принадлежащие ей, в его глазах — святыня; в безумном восторге он целует её косынку, её голос отдаётся в его сердце, как музыка, и краска заливает его лицо, когда ему приходится прикоснуться к своей богине...

Но любовь, в какой бы извращённой, исковерканной форме она не выражалась, всегда остаётся лучшим, святым чувством, источником всего чистого, светлого, благородного. Этот общий закон оправдывается и в применении к маленькому герою: чудная, глубоко прочувствованная сцена, где мальчик находит письмо «соперника» к своей «возлюбленной» и где он после некоторого колебания и борьбы, мучимый ревностью, любопытством, страстью, всё же решает вернуть пакет по принадлежности невскрытым, глубоко трогает и примиряет с той сентиментальной аффектацией, которая красной нитью проходит в поведении влюбленного мальчика по отношению к предмету его страсти.

Вот когда чувство, до сих пор неясно копошившееся в душе маленького героя, достигло своего зенита, оформилось, окончательно созрело. Этот момент можно считать поворотным пунктом, он является гранью между двумя возрастами: здесь кончается детство и всходит новая заря, заря сознательной жизни, заря юности.

Жаль только, что этот момент наступает преждевременно, заставляя серьёзно опасаться, чтобы эта аномалия пагубно не отразилась на неустойчивом молодом организме: суровое возмездие ждёт безумца, осмелившегося поправить законы природы.

По Р. Янтарёвой